

АРКАДИЙ КУЗЬМИН

Свет мой

ТОМ ТРЕТИЙ

12+

Аркадий Кузьмин

Свет мой. Том 3

«Автор»

2016

Кузьмин А. А.

Свет мой. Том 3 / А. А. Кузьмин — «Автор», 2016

Роман "Свет мой" в четырех томах - это художественные воспоминания-размышления о реальных событиях XX века в России, отразившихся в судьбах рядовых героев романа. Они узнали НЭП, коллективизацию, жили в военные 1941-1945 годы, во время перестройки и разрушения СССР. Они жили, любили, бились с врагом и в блокадном Ленинграде, и в Сталинграде, и в оккупированном Ржеве. В послевоенное время герои романа, в которых - ни в одном - нет никакого вымысла и ложного пафоса, учились и работали, любили и дружили. Пройдя весь XX век, каждый из них задается вопросом о своем предназначении и своей роли в судьбах близких ему людей.

© Кузьмин А. А., 2016

© Автор, 2016

ТОМ ТРЕТИЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В поле, что под Ржевом, рожь шумит, шумит; она колосится, и ее пыльца по ветру видимо летит, расплывается облачком летучим, тающим на глазах. Нужно это видеть.

С благодатью Антон Кашин помнил, вспоминал о малой милой родинке своей, к сердцу льнувшей, чувства тешущей, давшей ему понимание что-то в жизни лучше понимать и принимать в душе. Но словами-то не объяснить, не показать любовь тайную. А слухом притупленным уже не услышать ток полей умиротворяющий, ибо неторопоко-торопливо идет твое время и ты еще плутаешь в верности своей в городе Петра, белокаменном и независимом, не играющим с тобой в жмурки, в перебежки, – плутаешь, вынужденный ему подчиниться. В том, как, куда тебе ступить – он тебе диктует, а не ты ему.

Так думалось Антону. Он, неисправимый-таки пенсионный однолюб, аккуратно, можно сказать, жил-доживал в Ленинграде-Петербурге и при нынешней квазирыночной экономике с нещадной обираловкой неимущих, трепотней либералов; доживал без всяких излишеств и рублевом накопительстве, не то, что при долларах или евро (с чего их иметь ему?). Однако вот жил так, странно и совестно, не чувствуя больших лет своих, в расположении своего еще какого-то способного разума и духа, духа своего.

Потому он, наверное, вопреки всему, и продолжал писать (чаще маслом) пейзажи натурные, как повелось у него, – от восхищения перед неизменной живописностью природы, ее даром, озарением людей. И как только распалась его творческая связь с издателями – когда шустрые, небитые голубые мальчики, вскормленные на хлебах комсомольских, по-живому перекроили все в стране, хотя их было меньшинство, – он стал устраивать выставки своих работ в тех приятных заведениях культуры, где все охотно его привечали с ними, сотрудничая.

Впрочем, и раньше, бывало, его некоторые друзья и приятели, издательские художники-графики, систематически имевшие заказы на оформление художественных изданий, откровенно удивлялись ему:

– И ты, друг, еще этюдничаешь, что ль!? Ну, уволь-ка нас от этого. Мы-то уж отпрактиковались век. Чай, и достаточно уже имеем и умеем что проиллюстрировать и за то получить на лапу кровные – на хлеб. Касса – вот – за углом коридора.

Что говорилось даже как-то поэтично. Хоть записывай.

Да и дома жена Люба всеобычно приварчивала:

– И когда ты только уймешься с красками? Все плодишь свое добро? Ну-ну! И куда деть его потом? Скажи! Ты хорошо подумал? Кто станет возиться с ним? Наша дочь? Боже упаси!

Тут ее не переспорить: бесполезны его несогласие, его доводы. У них с давних пор уже было взаимное расхождение по многим вопросам бытия, искусства и политики. Уж она-то, Люба, которая хорошо занималась домашними делами и осенней заготовкой варенья, – она все видела и все знала в особенной степени наперед, а еще нравоучительствовала, главное, толково, просвещенно. И вот Антон находился как бы в некой тихой оппозиции к ней – стороной, защищающий свою правоту. Но в репликах он лишь спокойно обозначал чуть-чуть ответную защиту. Ведь нелепо и смешно оправдывать, точно ты мальчик, свои серьезные увлечения в конце жизни и вместе с тем жалко обижать ее, Любу, жестко говоря ей, что она неправа. Да и на это у него попросту не хватало времени. Он-то был вот как уверен в себе, в своих действиях, в своих творческих возможностях.

Люба особенно ужасалась при виде скопившейся сотней-другой картин, готовившихся к очередной выставке. Советовала:

– Говорю тебе: теперь-то просто поживи и отдохни в свое удовольствие. Купи куда-нибудь путевку... В тот же санаторий...

Был знойный июльский день. Антон, побывав на выставке своих картин в библиотеке, в здании, что на 6-й линии Васильевского острова, вышел прямо на площадь к станции метро, на автобусную остановку, и стал ждать подъезда нужной маршрутки. Хотя поначалу уже засомневался чуть: был разрыт Светлановский проспект – здесь ремонтировали какие-то серьезные подземные коммуникации – на нем-то – в отведенном коридоре – стопорилось продвижение колесного транспорта. Зато маршрутка доезжала до самого дома, до угла его. Прямая выгода.

Солнце золотило лица горожан, беззаботно снующих с питьем и едой туда-сюда прогулочным шагом по площади и примыкающей вылизанной пешеходной улице – линии, напичканной кафе, магазинчиками (не то, что в грязном дворе), или сидящих кто где любителей покрасоваться на людях, тренькающих на каком-нибудь инструменте и напевающих романсы. Играющих на публику. Раскрепощающихся.

Умелый старый гармонист в серенькой кепке сидел вблизи на складном стульчике и пиликал себе на гармони разные мелодии.

«Ну, у каждого здешнего посетителя свои игрушки, которые он выставляет напоказ – имеет право; гармонист развлекает прохожих музыкой, а я пишу картины – тоже занимаю людей, любителей живописи; вроде бы тоже хвастаюсь на склоне лет своей умелостью, своим художественным мировидением и мастерством, – подумал Антон. – Музыкой-то не владею нисколько, сожалею о том (слон на ухо мне наступил); хотя мои сестры – отличные певуны были с самого их детства, особенно старшая сестра, которая уже покоится на подмосковном кладбище – рядом с матерью нашей; отлично пел (и даже в ансамбле был) и старший брат, который уже покоится на Ржевском кладбище... Нас всех война разбросала по земле...»

Антон стоял в тени какого-то стенда. Подошла очередная (не его) маршрутка. Из нее вышла с родителями юркая девочка лет девяти и тут же живо запрыгала в такт услышанной музыки.

«Вот так начинает кто-то молодой, как эта девочка», – подумалось Антону. И он ярко вспомнил балерину в Мариинке и свою первую любовь.

Кто-то, проходя вблизи, художественно проговорил:

– Чего тут чирикать? Мы из разных профсоюзов... Проснись!

Антону ночью слышалось: рожь в поле шумит. И дорога снилась. Вроде бы в подземке – езда в метро, в вагоне, среди толкучки людской. Он сидел на месте. И вдруг – как с неба упал – какой-то верзила плотного телосложения и крупной бычьей физиономией (похожий на того спортсмена, который давным-давно увел у него Оленьку) вперся сюда же, навалившись на него, хилого (по сравнению с ним) Антона, всей тяжестью своего плотного мясистого тела, и еще спросил с ехидцей:

– Я не мешаю тебе?

– Я лучше уступлю Вам. – И Антон встал.

И упитанный наглец довольный воссел на его место, больше ничего не говоря и не выражая своим лицом ничего, кроме тупого самодовольства, что ныне стало свойственно – после либеральной революции – таким уверенно самодовольным и нахрапистым толстякам.

А стоило ли им уступать? С моральной точки зрения. Ведь в 1941 – 1945 годах мы, русские люди, бились, старались не уступать наглým захватчикам. Ценой жизни...

На этой Василеостровской выставке молодой корреспондент расспрашивал у Антона, как и когда он начал рисовать, и когда решил, что будет художником. И жаловался: почему-то те фронтовики, которых он просил рассказать о себе, отказывали ему.

– Стал рисовать спонтанно, – сказал Антон. Как все в жизни человеческой: все необъяснимо совершается с малых лет. Чаще вопреки всем предугадываньям и желаниям. Видите: мои картины красочные, но камерные, домашние, а не выставочные. Раз в манежном зале я

ужаснулся, увидав свой пейзаж, – ужаснулся его ничтожности на фоне полотен других художников. Работы других живописцев всегда кажутся мне лучше, проработанней. Только время рассудит. Все.

Он не стал больше ждать маршрутку. Пошел ко входу в метро.

II

К тому времени как Антон Кашин попал в военно-медицинскую часть, обслуживавшую раненных фронтовиков непосредственно в зоне боевых действий, он почти не брал в руки ни карандаш, ни краски: с началом войны и немецкой оккупации у него начисто пропала жажда рисования. Он даже и не думал о том. Правда, за исключением тех недавних моментов, когда по освобождения от оккупантов его попросили односельчане срисовать с фотокарточек портреты погибших сыновей. И это у него получилось прилично, он увидел так.

Но и теперь, в июне 1943 года, он не помышлял ни о каком-то таком своем даре в рисовании. Стало нужно еще вжиться в быт военный. Для него, мальчишки, это не сразу далось.

В разгар Курской битвы сам подполковник Ратницкий, командир, предложил Антону навестить родных, пока находились вблизи Ржева, – несомненно, с профилактической целью: чтобы облегчить для него, юнца, добровольное вживание в непривычные условия и быт военной службы среди военнослужащих. А еще, понятно, ввиду ожидаемой вот-вот новой передислокации куда-то к Западу. Это чувствовалось по всему.

Холеный сержант Пехлер, хозяйственник, устойчиво расставив на мягкой траве возле палатки длинные ноги в галифе и в добротных сапогах, объяснил Антону коротко следующее: домой его попутно подбросит на бричке ездовой Максимов, но назад уже пешком нужно вернуться. Спросил:

– Сумеешь ли?

– Спасибо Вам! – От радости Антон говорил вполне уверенно, без всякого хвастовства. – Приду... Не сомневайтесь! Здесь чуть больше десяти-то километров – пустык; отсюда сначала во Ржеве возьму вправо, потом – за ним – с шоссе сверну налево, тут, где торчит стрелка-указатель «Хозяйство Ратницкого». Проще же простого...

– Ну, порядок! Давай!

– Кругом здесь все голым-голо после длительных боев – далеко видать... Не прогляжу...

– Ну, так валяй, коли не шутишь. Счастливо! Ждем! Привет матери...

– Спасибо!..

Мать и Наташа Кашины уже навестили Антона здесь, в березнике; они возникли возле армейской палатки в момент, когда он, залезши наверх ее и маскируя ее, укладывал на нее зеленые ветки. Его очень обрадовала неожиданность свидания. И теперь – еще предстоящее, новое. Были новые волнения. Как все произойдет?..

К сожалению, солдатскую форму под его мальчишеский росточек, как обещали, еще не подобрали – он был в прежней сатиновой рубашке и ботинках. Впрочем – имел на то свое понятие.

– Но-о, мои лошадки ми-и-илые! – тронул поводья да прицокнул языком немолодой костистый солдат Максимов, и потрепанная бричка, на ящиках которой Антон воссел рядышком с ним, мягко выкатилась на зеленый разлив полей с петлявшей проселочной дорогой под неранным уже солнцем.

Пик лета. Незаметно подошел. Зрели высокая тимофеевка, полынь, а где и рожь; жирнел бурьян на месте сплошных пепелищ, окопов, бесчисленных воронок; фиолетово краснели кашка повсюду и Иван-чай на канавах, буграх; гроздьями зажелтела сильная пижма. Однако сейчас его мысли больше занимала предстоящая встреча с домашними: что он вскорости скажет своим? И что они скажут ему? Как обрадуются? И он от волнения даже мало разговари-

вал с ездовым, кстати, тоже малоразговорчивым, – под мерный, мирный скрип колес он как-то ушел весь в себя, лишь глядел перед собой. Так что они вдвоем почти молча ехали – каждый всяк по себе.

Как скиталец, отсутствовавший дома полный месяц, подъехал к тетиной избе, давшей после освобождения им, многочисленной родне, временный приют. И, радостно встреченный всеми домочадцами – матерью, сестренками, братом и тетями с бабушкой, скоро сидел в передку в их окружении... словно бы на углях: право, испытывал нечто похожее на угрызение совести, с одной стороны, и на чувство жалости, с другой, за то, что предстояло ему сделать дальше – вслед за тем, что начал он сам сознательно. Случилось, что он попал-таки, нет, вернее, запутался-таки в сложнейших противоречиях.

Вот тетя Поля более других могла его понять. Она была издавна его лучшим, понимающим другом. Вон еще когда.

Залатанные кое-как (нечем было и латать их) избяные окна выходили по фасаду на север. Под ними, на ковре плотно стелющейся лапчатки с желтевшими, точно покрытыми лаком, цветками, густела тень с прохладой. И сюда-то с оживленным говорком невзначай подошли три подружки (одногодки Антона) с мужицкими косами на плечах: они направлялись на послеобеденную косьбу трав вместе с его старшей сестрой – и, поджидая ее и серьезно поздоровавшись с ним (он, кивнув в окно, ответил им, в то время как разговаривал с матерью), подсели на зава-linkу, как-то притихли. В их числе была красивая чернявая, цыганского вида Катя Панина, его бывшая одноклассница, которой он всегда, сколько помнил, стеснялся почему-то.

В избе между прочим уже взвинтился никчемушный разговор. И самый что ни есть неподходящий для дальнейшей репутации Антона – провалиться ему от стыда! Никак уж и не думал-то он заводить его на столь слезливую, по его понятию, тему; но он само собой завелся, дернуло Антон за язык некстати: стало жалко всего (расчувствовался), связанного с его детством здесь, и жалко оставлять вдруг все и мать – словно бы бросать на произвол судьбы. И, не зная, что сказать, он об этом только робко заикнулся было... Этак сплоховал, изменил чему-то верному... Виновато он понурился – и тем хуже было.

– О, погонишься за двумя зайцами – ни одного ведь не поймает, говорят, – убежденно сказала, как отрезала, тетя, энергично сверкнув, ему показалось, серьезными глазами.

Антон хотел лишь уточнить, а не то, что возразить ей, чтобы как-то выпутаться с честью из неловкого момента.

– Я понимаю все... – Говорил, естественно, потише, до противности пискливо, верно.

Но она-то, знавшая наперед не то, что прямую выгоду, а необходимость таким образом посмотреть на мир, продолжала, доканчивала свою мысль:

– Поступил ты так, как нужно, и это единственно правильное решение для тебя, пойми. Потом тебя, наверное, направят в какую-нибудь школу – ты молод. Ну, приобретешь специальность, может. Война-то, чай, скоро кончится, раз уж наши всюю колошматят немцев везде... Мы снова обживаем, налаживаем все...

И это самое – что именно тетя, которую он очень уважал и которая могла ему дать совет даже дельнее, чем мать, и теперь давала без всяких обиняков – по-мужски трезво, убедительно, да еще в присутствии затаившихся там, под окном, девчонок, все слышавших наверняка, – это устыжало его больше всего.

Она говорила совершенно справедливые слова, и тут Антону отчего-то вспомнился тот эпизод, как однажды холодной снежной зимой отец спилил толстенную березу напротив, у колодца. Тогда и было голодно, болел братик-мальш; требовалось чаще топить лежанку для поддержания тепла в избе, а привезти из леса дров было не на чем. И тогда-то к немалому огорчению Антона отец вздумал свалить березу, росшую перед домом, и попросил помочь соседа. Следовало в точности уложить ее на дорогу под наклоном (поскольку береза росла вкривь), чтобы не зацепить эту новую тетину избу; поэтому, подпилив до нужного предела, в

березовый ствол толкали длинной жердью. Береза затряслась и тяжело рухнула, ухнув, подняв белую снежную пыль, – казалось, без всякой борьбы, с пониманием того, зачем то нужно. После этого опилили ветви, а ствол распилили на кругляшки. И они, малые ребяташки, суетились возле – тоже работали до большой усталости, перетаскивая и укладывая все порядком ко двору. Он, Антон, помнил, как сдирал тонкими отслаивавшимися листьями бересту, очень теплую и нежную по цвету, и видел на ней какие-то таинственно-нежные оттенки и рисунки, и рисовал на ней свои, так как не было бумаги... Потом весь березняк оккупанты начисто низвели, стало совсем-совсем голо, пусто, непривычно...

– Я все понимаю тетя, но первым делом... – делал Антон отчаянные усилия быть услышанным и в пальцах мял пилотку.

Однако она не слушала Антона – уже завелась, что называется, села на конька своего и будто нарочно усугубляла и без того щекотливый вопрос для него, говоря:

– Вон видишь, как девчонки и ребята колхоз поднимают, рук не покладая... Как все это тяжело для взрослых-то, не то, что детей... голодных...

– Я этого не боюсь, знаете, – так работал тоже и могу... – Антона отчасти как-то смущало то, что недавно и он сам участвовал в тяжелойшей копке земли вручную, а теперь вроде бы смалодушничал. И еще было совестно за то, что вроде бы его уговаривают в чем-то, а не самолично он решил все.

– Вот то-то и оно-то. Но не забудь: у тебя здоровье слабей... И учиться надо. – Она понимала все так, будто его нужно было еще в чем-то уговаривать, – ей было все видней, чем кому бы то ни было.

«А ведь она права, – вдруг подумалось ему. – В ней то же отцовское упорство во всем. Не погиб бы он – точно также советовал бы. Да, конечно, жизнь показала, что она, тетя, тоже отцовской породы, хоть и не родная ему. Чувство любви и уважения у них друг к другу было взаимно». И ее слова и звучавшая в них убежденность вызывали у Антона память об отце. Слушая ее, он опять мысленно отметил с жалостью, что отчасти отвыкал уже от всего здешнего, что прежде окружало его (и без деревьев все казалось совсем голым), вероятно, потому, что он мысленно уже простился с родными местами на время. Надо – и жалко, а надо было.

III

– Не знаю, сынок, смотри сам, – тревожно-обеспокоенно и тихо, сложив усталые руки на коленях, сидя прямо, в вылиняло-сереньком наряде, приговаривала тем временем мать. Относительно своих детей она была слишком заинтересованным советчиком, не всегда объективным, разумным, потому что всегда жалеющим. Естественно: ведь, следует учесть, через какое пекло все прошли (никому не пожелаешь), – и старалась не обидеть его, чтобы впоследствии он не обижался на нее. – Нам не сладко пока, видишь все. Не утаиваем. Вон хлеб-то какой еще едим – знакомый тебе. – Она ткнула рукой на стол. – С картофельными очистками, листьями буряка и травой – всего намешано. И, как видно, не скоро будет такое, что будем есть один ржаной, чистый, каким уж кормят тебя в части.

– Да разве в этом дело, мам?..

Получалось, что она тоже словно уговаривала Антона по-своему. Навыворот...

– Ты только не обижайся, сынок. Никогда.

– Да что ты, мам, говоришь!! За что же?

– Может, тебе стыдно за меня? – Она будто что почувствовала. Потупила глаза.

– Отчего ты так, мам, думаешь? Вот взяла невесть что!.. Я не понимаю тебя...

С пониманием, затихнув, тетя коротко взглянула на нее. Мать снова подняла на Антона сухое пристыжено-закрасневшееся лицо, васильковые глаза – ровно с покаянием:

– Вишь, разок я хлеб для вашей части плохо испекла, загубила – тесто-то не поднялось: не было закваски, да и разучилась, видать, печь хороший нынче. Стыд какой, сынок! И перед тобой... – Тербила фартук.

– Полно, полно же тебе... – Антон коснулся ее рук. Была острая жалость к ней. – Ну, не вышло – что же мучиться?.. Время-то прошло...

А она, бывало, почти ежедневно выпекала для семьи такие душистые хлебные караваи с поджаристой корочкой на капустном листу и такие вкусные блины.

– Да, ваш Пехлер сильно ругал меня: подвела его и оставила всех бойцов без хлеба... Ой, как!.. Осрамялась...

Надо же случиться неприятности! Но ведь все потому, что мама испокон века старалась все переделать, услужить. И вот такой срыв... Она после большого перерыва в печении хлеба просто потеряла практику. И Антону обидно было за нее, – она не была виновата в том, а только одна война. Ее же упростили, видимо, – и ей хотелось сделать как можно лучше для всех.

– Ты больно-то не волнуйся, не тужи... – В мыслях его тотчас и связалось с этим значение тогдашней ночной поездки сержанта с ним за хлебом под Зубцов. – Тогда они привезли хлеб из-под Зубцова – взяли, может, заняли, в каком-то подразделении там. И сержант не сказал ему ничего оскорбительного.

Антон сказал:

– Да, сегодня – я чуть было не забыл: Пехлер просил передать тебе привет. Лично.

– Даже так?.. – Расстроенная мать недоумевала. Она сама судила себя за свою неудачу в пекарном деле.

«А я-то никак не мог догадаться, с чего же он, сержант, изредка в то время странно бросал на меня короткие косые, сердитые взгляды, словно хотел мне сказать что-нибудь нелестное, на что не решался, однако, чем-то останавливаемый», – соображал Антон и успокаивал мать:

– Да не думай уж об этом, право! Все прошло. Наверное же, срочно он просил – сам время упустил сначала...

– Как же, очень просил – приехал взъерошенный, а я поначалу отказывалась. Без протвений, квашни, считай... Уступила... Опростоволосилась. – Ой, нехорошо.

«Чудно все-таки! – Поразился тому Антон. – Втихомолку от меня приезжал сюда – и после не открылся с этим происшествием»...

– Так что насчет себя – как знаешь, сынок... – говорила напоследок мать.

IV

Когда Антон позавчера, еще полусонный, сел в крытом кузове посреди светлевшей глуши леса – где-то восточнее Зубцова, где пришлось им троим заночевать, и когда он, обхватив руками и прижав к подбородку колени, продолжал еще не то дремать, не то думать о чем-то, не то созерцать все по-мальчишески в дреме, – в его сознании строились видения будто бы подлинных событий прошлогодних. Да, именно: из лета сорок второго. И он даже порадовался сам с собою оттого, что они, стало быть, уже давно прошли и что самое тяжелое окончилось. Так определенно верилось. Но, впрочем, оттого Антон не встрепенулся, не вскочил на ноги, не закричал самому себе: «Солнце, солнце всходит!» – едва сверху, навстречу ему, золотистыми брызгами окрасились вздрогнувшие тучные макушки деревьев, точно живительный ток пробежал по ним вместе с пахнувшей волной рассветной прохладой, и когда еще веселей вокруг засвистали, защелкали птички.

Руководивший с вечера разворотистый, уверенный в себе сержант Пехлер сразу не сказал, зачем едут; он только сердито-сумрачно бросил на ходу, когда брал его с собой:

– Собирайся, Антон, машина ждет! – Он словно хотел (и вполне мог) за какую-то неизвестную покамест ему провинность – сбить его куда-то с глаз долой, не иначе, – вроде б дулся

и косился на него целый день беспричинно. Поди, догадайся, отчего... Правда, и разок все-таки прорвалось у него сквозь зубы: – Ну, и подвела ж меня мать твоя, а я понадеялся!.. – Но больше ничего определенного не сказал – молчок. В чем же суть всего, что он посумрачнел?

Здесь лес, куда они заехали вчера почти затемно, был заселен военными частями; кое-где за стволами сосен, берез и елок виднелись грузовики, начиналось редкое движение людей.

– Сергей! А Сергей! Это я! Погоди! – отчетливо услышал Антон из своего чудного прибежища приглушенный ранний, но свежо-юношеский голос, позвавший, вероятно, товарища. И вслед за тем увидел, как худенький темноволосый, в шинельке боец легко-подвижно и как-то любовно переступая через сучки и мелкую поросль, приблизился к ожидавшему его вблизи их крытой автомашины высокому, большеголовому и светловолосому здоровяку в фуфайке с солдатскими погонами. Поздоровался с ним торопливо:

– Наконец-то! И как мы разошлись накануне? Ну, мы не договорили...

И удивительный, между прочим, разговор повели, для чего названный Сергеем, расставив шире, вывернув наружу носками, свои крупные ноги в ботинках и обмотках, ровно создавая себе большую опору на земле, уставился с некоторой ухмылкой на остановившего его:

– Извини, Павлуша, я-то думал: ты увлекся там – сестричке Миловой помогал, – кивнул он в сторону темневшей палатки. – Что, ошибся? – В силу ли своего внушительного вида или полученных когда-то званий, или молодости с ее бескомпромиссным суждением обо всем, или же каких иных умственных способностей, он, видимо, все же был не лишен тщеславия и отчасти проявлявшейся надменности.

– Нет, почему же... Верно: помогал я... Только по-товарищески...

– Ох, зря это!.. Говорил ведь: да, девчонке тяжело быть на войне, среди мужчин... Немудрено. Тут в одном даже походе пока допрешь заячьей прытью, куда нужно, – с тебя сто потов сойдет... – Сергей, по всей видимости, любил всегда на людях поучать и морализировать открыто, громко, чтобы все его услышали. – Притом она сейчас героитствует, может быть, из-за тебя, запомни. Поскольку нравишься ей.

– Сергей, прошу я...

– А ты, знай, ладишь свое: товарищеская дружба... Знаем, знаем мы ее!..

– Опять прошу тебя, Сергей: давай не будем говорить о том. Как можно?! Ведь не закажешь сердцу своему. Повторяю: у меня невеста Нина дома есть, часто переписываемся с ней; не рассудочно, как ты говоришь, – нормально любим мы друг друга. И пока я... – Павел перевел дыхание, – пока я тут, не изменит она мне...

– Да то не увидишь, дорогой Павлуша! Не ручайся. – Сергей улыбнулся сожаляющей улыбкой. – Сколько времени дружил-то с ней?

– Почему «дружил»? И сейчас... Четвертый год.

Сергей присвистнул удивленно. И спросил, почему же не женился? Она не взяла? Ведь не убьют б ничего...

Однако Павел стойко защищался. Произнося слова, он и закрывал на мгновение глаза (верно, не хотел видеть пафос друга в выражении его лица – достаточно было слышать), мотал головой и разводил даже руками, как будто этим самым говоря тому, что ему-то наперед известно его неодолимое упрямство в споре, но что, несмотря на уговоры бросить свое фантазерство в жизни и хотя бы поухаживать всерьез за Леночкой, которая почти без ума от него, Павлуши, – он отказывался поступить не по совести. Нет, нет, не в его манере это. И было что-то естественно-милое в его негромком, но решительном отказе сумасбродным идеям товарища. Он, должно быть, чувствовал себя с ним и как более взрослый с ребенком и в то же время как ребенок со взрослым, но только славный такой ребенок.

– Позволь, завтра, может быть, убьют нас, – привел как бы неотразимый аргумент Сергей. – Так отчего же не воспользоваться напоследок тем, что рядом с тобой находится? – И он

засмеялся баском наигранно. – Ты слишком интеллигентен весь, во всем, я замечаю. А надо бы за горло брать, не отпускать... Лишь тогда и сам выступишь в этой неслыханной кутерьме...

– Для чего, не понимаю, говоришь? Сам-то понимаешь что-нибудь? Отчего ты так раздражен? – Уже запротестовал Павел против грубых, вывороченных наизнанку чувств советчика и чуть не задохнулся от подступивших к нему негодования и волнения.

– Потому что так было у меня: дали от ворот поворот, – сказал тот яростно, с дрожью в голосе, – так что на собственном опыте, так сказать, проверено. Далеко за примерами ходить не нужно.

– Я тебе, конечно же, сочувствую... Но за что же обижать других?

– Они, по-моему, все такие, стоят друг дружку; невеста, попомни, посмеется над тобой, и ты с ума сойдешь...

– Нет, никогда того не будет.

– Извини, да она, она, должно быть, как и эта твоя Леночка, друг, может ответить при случае взаимностью не тебе, а какому-нибудь еще суженому... – И Сергей, бледнея, пошел себе.

– Да это ж подлость, что ты сказал! А я-то впрямь дурак, что еще разглагольствовал с тобой обо всем. Нет, ты... посмотри на него, пророка...

Но тот, мрачно насвистывая что-то, уже уходил размашистым шагом прочь, в чащу. И тут во сне вскрикнул, промычал обычно спокойный солдат-шофер Терещенко, спавший сбоку Антона в кузове, как и сержант. Павел, не договорив, с удивлением обернулся на вырвавшийся вскрик, было осудительно глянул на Антоново лицо, глазевшее в брезентовом проеме, но только приветливо махнул рукой и удалился тоже. Растворился в чаще леса.

Деревья тревожно затрепетали листвою в вышине.

Озабоченно-хмуроватый Пехлер, проснувшись, зевнул, встал, выбрался наружу и деловито засновал туда-сюда, в новеньком ватнике; он ворча подгонял поднятого Терещенко, велел заводить мотор, испытующе-неодобрительно поглядывал на Антона. Но Антон ни о чем не спрашивал у него: что спрашивать напрасно? Все равно не скажет ему, почему сердит. Да и решал он сейчас вопрос с самим собой – очень важный. А именно спрашивал у себя: «Смогу ли я прикрывать собой других? Не испугаюсь ли, главное, когда нужно будет действовать? Сколько в моей жизни небольшой уже было довольно неприятных минут – и ведь не могу не признаться себе, что мне было очень-очень боязно порой, а порой азартно-весело на краю, считай, обрыва, только и всего. Но главное же чувство – желание во мне было то, что не хотелось мне со стороны смотреть на все, а скорее самому участвовать в самом деле совершавшегося – самого значительного, что я видел, и увидеть все то до конца победного, когда все останутся жить, – все ждали того, ощущали в нем первую потребность, торжество свершения наивысшей справедливости».

– Ну, теперь порядок полный, можно жить, – удовлетворенно проговорил Пехлер, вытирая ладонью пот со лба из-под фуражки, после того как они погрузили в кузов мешки с буханками пахучего, только что испеченного хлеба, который получили по договоренности из воинской пекарни. И, показалось Антону, разом согнал с лица хмурость, больше не косился на него и миролюбивей был с шофером. Как же, ведь надо было ему накормить людей, – он за это отвечал.

Да, хоть мать и говаривала Антону обыкновенно так, она все-таки, чувствовал он, полагалась теперь целиком на его правильный выбор. А это, в свою очередь, заставляло его собрать свою волю, собраться с решимостью, духом. Недаром он оставался за старшего мужчину в семье. Без него ничего бы дальнейшего и быть и не могло. Как бы то ни было, закончился первый период его испытания в новом для себя качестве – он его выдержал-таки, можно сказать; ему должно быть впредь легче, проще. Он значительно повзрослел за короткий период –

может быть, чувством дома, родины и чувствовал каким-то особым чутьем, что у него уже нет возврата к прежней жизни в семье. К лучшему ли или худшему то было, неизвестно. А между тем не было. Более чем месячный срок отделял его от первого разговора о том, ехать ли или не ехать ему с прифронтовой военной частью; за это время многое улеглось, определилось как-то само собой. Пусть и не безболезненно для него. Он сам шел навстречу своей судьбе – и будет за нее в ответе; и больше никто – даже тетя Поля, его друг, и взрослая сестра – не могли быть ему советчицами и успокоителями.

Да, мудр человек, по-отечески устроивший для Антона эту последнюю проверку – свидание с матерью.

Обратно он шел уже с убежденно-твердым решением, более чем когда-либо убежденный в том, что поступил совершенно верно.

V

Затянутый в португею, чопорный рослый капитан Шведов, штабной работник, уверенно подошел к автобусу «ЗИЛ», уже стоявшему загруженным на исходной для выезда из привычного березника позиции. Он заметно был тоже в слегка приподнятом настроении – оттого, что, главное, начинались существенные фронтовые перемены, что вследствие их наконец стал возможен новый переезд Управления и что он, серьезно-строгий капитан, назначен ответственным за предстоящий рейс поближе к фронту. Радость вполне естественная для всех. В салоне автобуса, полузаполненного разным имуществом сослуживцев, было несколько человек. И, садясь в свободное переднее кресло, Шведов для начала охотно объяснил, что все автомашины – поедут порознь. Ради наибольшей безопасности в пути. Такой приказ командира. Потому-то и делается скрытно ночной переезд – чтобы не попасть под прицельную бомбежку...

– Ну, двигай, – сказал он шоферу Чохели.

Да, так случалось часто, первая же заминка тотчас, не успели с места стронуться, приключилась с автобусом, потяжелевшим от загрузки: заведенный, с включенной скоростью, он на маленьком пяточке среди березок буксовал колесами и увязал в сочно-рыхлой, чересчур податливой почве, которая качалась, пружиня, под ним. А вокруг оплывшие окопы, воронки, рваная колючая проволока... Так что все снова вышли из автобуса. И, кстати, вовремя. Так, мужчины, подкидывая под его задние колеса сучья, палки, заметили рядом в траве (словно специально подложенную), темную дисковую противотанковую немецкую мину. Значит, при недавнем прочесывании здесь саперами подорваны были не все заложенные мины – остались еще незамеченные. Они могли при неосторожности взорваться в любой момент. Тем не менее ни Чохели и ни Стасюк, увидавшие коварную мину, отнеслись к этому спокойно, как к самому заурядному явлению на войне. Только Чохели тихонько сказал:

– Без паники! Без паники, ребята! – И, негромко насвистывая, старался аккуратно вывести автобус из опасного места.

В эти минуты женщины – Анна Андреевна вместе с розовощекой дочерью Ирой, майор медицинской службы Игнатъева и капитан, стоя в сторонке, как ни в чем не бывало, разговаривали весело.

Антон слышал голос Игнатъевой:

– Внешне каждый может быть очень приятным, симпатичным. Но только глаза выдают какую-то черточку характера. Помню, у нас в школе один учитель – историк был – страшный, просто-напросто безобразный, нос у него расплылся во все лицо, насуспенные сросшиеся брови. По-первости, когда он взглядывал, нам, ученикам, страшно становилось; потом, когда весь класс привык к нему, таким чудесным человеком он оказался, с каким чудным, ослепительным взглядом из-под густых бровей! И наоборот: знала я другого мужчину. Был он прекрасен сложен: торс, высокая шея, бицепсы, походка – все есть, на месте, – ну, красавец! Но

вот глаза-то у него были непереносимы – рыбы, и только. И по-рыбы блестели. И это все портило. Понимаете?..

Удачно вырулил Чохели автобус из кустов, остановил его и пригласил всех снова в салон.

– А что ж с миной будет? – спросил я у Стасюка. – Может, еще минеры взорвут ее? Ведь кто-нибудь и не заметит...

Стасюк прокашлялся.

– Теперь всю землю надо чистить, вычищать от этого добра... Пстой-ка, ты куда? Назад! Не тронь!

– Да я хоть траву вокруг нее пригну – открою дуру... – сказал Антон.

– Напугал меня, стервец, – отходчиво проворчал на него Стасюк после.

– Малость знаю, что к чему, – оправдывался Антон. – Уж научен...

Березки, расступаясь и блестя листвой, промельтешили перед окнами автобуса, ветки слышно проскользили по его обшивке, и очень скоро он очутился на открытой накатанной грунтовой дороге. Поездка началась.

Антон испытывал особенное нетерпение: словно на иголках сидел или, точнее, полулежал позади всех, на сложенных матрасах и мешках, занимавших пол-автобуса. Переговариваясь во время движения с Ирой, со все возрастающим волнением следил за дорогой, стараясь определить по всяким признакам, в нужном ли ему направлении они едут – на абрамковский ли тракт... Почему-то он предположил, что наверняка последуют под Вязьму через Ржев, именно по большаку, проходившему близ родной деревни. И в таком заблуждении пребывал сначала, пока с огорчением не обнаружил, что наивно ошибся. Судя по всему, автобус катил по иной – незнакомой ему местности; стало быть, сразу же направились – фактически из-под города Зубцова – южнее, по другому большаку, верно, более безопасному для них.

Вечерняя заря, полыхая и медленно угасая из-под барашек неразогнанных облачков, играла над густевшим синью лесом, над холодно мерцавшей речушкой и меж близких коряво-кряжистых переплетений чернеющих стволов и суков деревьев, выбегавших гурьбой либо одиночно навстречу автобусу (Антону иногда мерещилось, что они точно так же, как и люди, могут, если это нужно им, принимать тот или иной образ и даже свободно передвигаться, и уж, конечно, так же поглощено думать о чем-то, подремывая). Тени сгущались, заволакивая все в сказочной задумчивости, таинственности и бесконечной глубине.

Сбился счет времени, и пропало чувство реальности.

Наступавшие сумерки быстро поглощали все вокруг, скрадывалось расстояние; светозамаскированные фары автомобильные почти не выхватывали из темноты ничего, лишь неровную, разбитую всю дорогу. Все в салоне колыхавшегося автобуса уже подремывали, сладко позевывая, а кто и откровенно посапывал. Но Антону еще не спалось, и он все также полулежа на тюках, одеялах и матрацах, по которым помаленьку – под влиянием инерции и их утробки – сползал, почувствовал себя будто даже в одиночестве.

VI

На одной из вынужденных ночных остановок, сблизившись, впритык встали за крытой полуторкой. Снаружи слышался из-за равномерного шума двигателя чей-то хрипловатый густой голос. Дверь автобуса открылась и, всунувшись в нее наполовину, Терещенко, шофер этой полуторки, громче обратился с вопросом:

– Может, кто желает пересесть ко мне? Желающие есть?

Разбуженные пассажиры молчали недовольно, ничего не понимая толком.

– Может, разве что Антон, – сказал кто-то.

– Ну, давай, Антон, дуй ко мне в кабину, а? Место у меня освободилось.

– Да, – обрадовался Антон возможности продолжить путешествие непосредственно в кабине: его как магнитом тянуло в особенности к военным шоферам, людям, причастным к столь благородному и мужественному своему ремеслу, к которому ему тоже хотелось приобщиться. Но с беспокойством он как бы испросил разрешение и совет у своих возможных опекунов, с кем находился в автобусе: – А это можно будет?

– Если только тебе хочется, Антон; ты иди – ты от нас не потеряешься, – спросонок разрешил его сомнения бывалый солдат Стасюк, чтобы побыстрее с этим кончить. – Лезь сюда! Что, пролез?

– Все в порядке. – В момент Антон вполотупью вышел наружу.

Над чутко задремавшей местностью выкатывалась круглая медная луна, светившая призрачно, красноватым светом, что из-за чего он вблизи уже различал черты Терещенко.

– Идем, залезай, – оживленно говорил ему новый покровитель. – Капитан мой, понимаешь, перебрался в кузов – лег на боковую. А мне одному негоже ехать. Собеседник нужен. – Непонятно, шутил он или нет. – С тобой, глядишь, повеселее станет, так? Ну, забрался? Дверцу хорошо закрыл? Дай проверю...

Прильнув к ветровому стеклу и зорко, как ночница-сова, всматриваясь вперед, Терещенко хватко держал и крутил мускулистыми руками руль и одолевал, где нужно, невеселые разводя российской дороги. И клял ее при случае. Незлобливо. Привычным уже образом. Про себя.

Его полуторка была изрядно изношенной, помятой, латаной не раз: она вместе со своим хозяином, не страхуясь, перебивала уже в многочисленных военных похождениях; в кабине ее пахло бензином, а пообтертое расшатанное сиденье прыгало под Антоном и скрипело разболтанными пружинами. Но она, и груженная, довольно легко преодолевала все препятствия. Служила ему. Слушалась его.

– Бачишь, яка езда? – словно думая о том же, проговорил, не отрывая взгляда от дороги, Терещенко. – Вот дурна.

У Антона ж невольно вырвалось, напротив, с восхищением:

– Вижу. Как же вы – вы все шоферы – ночью водите машины? Я не представляю... Зрение кошачье нужно ведь.

– Не кошачье, а обыкновенное человеческое. Такая уж привычка выработалась в нас, водителях.

– И здоровье нужно. Ведь недосыпаете...

– И к недосыпанию привычны мы. Пока еще молод, еще силы есть. Но война же и не век, поди, продлится? Будет праздник и на нашей улице. А як же... Будет! На гражданке шоферить – крутить баранку в односменку – куда ни шло. Добре дело. Каждый скажет. И я его не променяю уже ни на что. Ни трошки. Руль из рук своих не выпущу, пока жив. Это точно. Везде ты на колесах быстрых колесишь – любо-дорого; мигом туда-сюда скатал. Столько видишь всего! Кругом друзья-товарищи. Ни с чем не сравнишь нашу профессию. Всюду и всегда мы людям нужны. И робишь себе все равно что вольный казак. Себе в удовольствие.

– Понимаю... На совесть. – Антон ему завидовал, его профессии.

– Однако ж в нашем деле нема мелочей. Треба очень тонко применять сноровку и осторожность, где проскочить, а где и уступить – трошки ставить глаз: среди нашего брата тоже есть лихачи. – И он тут же взвился, что ужаленный: – Вон, бачишь, как он пронесся мимо нас, сломя голову. Куда? Пошел вдруг в обгон. Чего он? Чи шальной? Сдурел? Як бык бодучий попер...

Так по-бывалому, рассудительно, незлобливо комментировал – с хрипловатым певучим тембром голоса – Терещенко за рулем, комментировал все, что ни касалось его и разговора с Антоном, текущего, как и дорога ухабистая, медленно, будто в рассрочку. Антон с ним договорились уже до того, что он может, только захоти, также научить его вождению автомобиля.

Диковинно под желтоватым лунным светом белели в отдалении какие-то большие наземные шапки, выросшие здесь, посреди черной взрыхленной земли и зелени, кажется, совсем недавно. Лунный свет увеличивал их размеры. Но постепенно Антон догадался, что это были доты, расставленные с промежутками, ровно стражники.

В эти августовские дни 1943 года, он заметил, между прочим, и по разбитому дотла Ржеву – и тем был поражен – усиленно строились укрепления, амбразуры, доты, оборудовались огневые точки. Верно, на непредвиденный случай: ведь это было все-таки в двухстах километрах от Москвы... В войне, затеянной сильным и жестоким врагом, приходилось очень многое учитывать...

Его еще печалила смерть трех невинных мальчишек от взорвавшейся мины. Он был свидетелем падения немецкого бомбардировщика «Юнкерс», сбитого нашими зенитчиками.

Он в ранний час добежал до околицы снесенной в прах деревни, где – из колодца – армейцы брали воду для кухни. Мелкие красноватые язычки огня лизали брюхо распластавшегося хищника. По-хозяйски двое бойцов, взяв в руки заступы, обкладывали землей чужой металл, – гасили пламя; они будто занимались привычным будничным делом – спасали какое-то общественное добро, что было для них естественно, разумно. Здесь же, среди кустарника, под охраной сидели на траве в какой-то прострации трое немецких летчиков в комбинезонах – они только лупали глазами. Четвертый их летчик, выбросившись из бомбовоза при его падении, не успел раскрыть парашют – и остался лежать бездыханным на российском поле, в двух тысячах километрах от дома своего.

Для чего же продолжает побоище тупой маниакальный враг – гнетет Россию? – Все шныряет над ней по-за облаками...

– Натя вам, приперся сюда брюхатый – и вот напоролся на плюху, – удовлетворенно-твердо проговорил для себя вставший обок Антона красноармеец в летах в бывалой выцветшей гимнастерке.

– Но зачем? – не выдержал Антон. – Здесь у нас бомбить-то уже нечего. Абсолютно. Они в сорок первом все расколошматили. В сорок втором – сорок третьем добавили...

– Да, известно, уж такая чертовская закваска, то есть философия, в голове у фрицев; нужно подавить, поставить нас, русских, на колени, – пояснил красноармеец. – Я учительствовал историком и знаю это очень хорошо. Но мы достаточно научены, чтобы больше не бывать терпимыми. Пусть все знают.

Приказ есть приказ. Только если ты гражданин – собственная совесть должна стучать у тебя в груди. Разве ее-то заслонишь чем-то другим, если ты человек?

VII

После освобождения Ржева, за несколько тихих месяцев, Антон тоже отвык от бомбежек и обстрелов. Теперь среди тарахтенья мотора грузовика неожиданно послышалось вновь настоящее гуденье самолетов, явно неприятельских; уже забухали где-то недалеко зенитки, там-сям запылали вспышки снарядов и сотрясавшие мощью разрывы бомб. И это давно знакомое мерцание рваных вспышек и грохотанье все усиливалось, становилось непрерывней. И порой – настолько мощным, точно это палили и хотели попасть именно в грузовик. Таким, значит, было приближение военной части к фронту, к опасности; очевидно, они въезжали в самую живую полосу ночной бомбежки, так что Терещенко временами притормаживал автомашину, чтобы не быть разбомбленным случайно, по глубоким, что траншея, колеям большака. У Антона возникло странное впечатление, будто не с ним такое было – что он плыл вместе с Терещенко в кабине по мрачно исполосованному пространству навстречу неизвестности – плыл под раздирающе-оглушающие звуки пальбы и разрывов, перекрывающих гул самолета-

тов и то мерный, то натужный шум мотора полуторки и других встречающихся на большаке автомашин. В какой-то миг он даже потерял ориентировку, и ему определенно показалось, что теперь они развернулись и ехали обратно на север.

Постепенно у него само собой стали смыкаться глаза, несмотря ни на что; глаза его слипались, но он их еще протирал и, зевая все тыкался лицом в переднее стекло и высовывался в боковое окно кабины – надеялся еще увидеть нечто единственное, что заслуживало бы его внимания: не хотел заснуть и тем самым подвести шофера. Но он все же заметил это.

– Что, поуморился, значит? – и предложил участливо: – Иди в кузов, не томись. Заснешь там. – И остановил затем полуторку.

– А вы как же? – растерянно спросил Антон.

– Мне не впервой. Не беспокойся, друг. Идем.

– А там местечко есть?

– Припас. Там только двое. Третьим будешь. – И он будто хмыкнул от особенного удовольствия услужить всем.

– Ну, спасибо, – сказал Антон на радостях, отчасти снимая с души тяжесть своего стыда.

В крытом кузове, куда он залез, спали стойко двое мужчин, лежа на плотных тюках, наложенных примерно вровень с бортами; он присоединился к ним – лег посередине, еще некоторое время вслушиваясь в близкие гремящие разрывы, подкидываемый при езде и раскачиваемый в стороны, как на корабле. И так сладко, оказалось, было торнуться плашмя и свободно вытянуть наконец ноги и погрузиться в желанный сон даже под гул вражеских бомбардировщиков, бабаханье зениток, свист и разрывы бомб – дальние и близкие, под их молниевые всплески, под феерический свет чадающих фонарей, при качке и основательной встряске на перепаханной вяземской дороге. Никто из сослуживцев сейчас, как видно, и не прятался пугливо от сбрасываемых бомб, уже узнав в полной мере, что это такое. Так чего же, спрашивалось, ему, закаленному не меньше любого, он считал, в самом пекле бесчисленных бомбежек – сначала немецких, потом наших и еще добавочно артобстрелов – чего же дурака какого-то валять?..

И, засыпая, только думал: «Интересно, по кому же они молотят так интенсивно? Нагоняют страх. Ведь невзначай чего доброго, и могут зацепить...»

Антон разбудили тут будничные голоса разговаривавших и ощущение полного покоя. Автомашин стояли в тишине. Что такое? Испугался он: «И это сделалось без меня?! Ну, я – соня!» Поспешно сел на вещах, почти упираясь в верх брезентового кузова; но его попутчики, как он увидал уже в свете нового утра, лишь заворачивались во сне, не проснулись: они были с очень крепкими нервами. Осторожно выскользнув из кузова, он нашел, что полуторка и автобус уткнулись под могучей мшистой елью на опушке тенистого и тихого леса, к которому восточней подступало сочное нетронуто-спелое поле. А дальше за ним виднелась деревня. К ней вела отсюда проселочная дорога.

– Ну, теперь я полезу соснуть на место твое, – с улыбкой сказал ему усталый Терещенко, направляясь к кузову. – Выспался?

– Что, привал? – спросил Антон.

– Да, передых.

С детства, сколько Антон ни помнил себя, он никогда днем не спал ни минутки, да и подымался с постели, бывало, по обыкновению ежедневно раным-рано, почти одновременно с матерью, примерно тогда, когда она вставала, доила корову и затапливала печь; тогда изба еще пахла теплым парным запахом, а утром только еще разгоралось и порой крупно блестяла невысохшая роса на траве и курился, колыхаясь и расходясь, теплый туман. Поэтому один вид спящего днем человека обычно навевал на Антона скуку. И не потому ли тогда он и в детский сад не пошел, как ни уговаривали его родители и няни, видевшие его каждый день и пристававшие к нему и зазывавшие сюда: тот находился в соседней избе...

– Ну, если тебе, приятель, не хочется, никто тебя и не неволит, – сказал ему как-то сержант Пехлер. – А я вот служил действительную и меня там приучили к дневному сну. Нынче я даже с удовольствием, особенно, когда наломаюсь, принимаю мертвый час. Отчего же не поспать лишний часок, если не в ущерб делу и очень хочется.

Пехлер был одним из спавших еще в кузове полуторки.

Между тем как у Антона возникло радостное настроение от всего, что он переживал, те, кого он увидел, уже бодрствовавшими, – Анна Андреевна, Ира, Стасюк, майор Игнатьева и капитан Шведов, – были какие-то вроде бы обычно-равнодушные ко всему. Они почти и не приветствовали его появление среди них.

Отчего? Может, что-нибудь не так со мной? Он, слегка недоумевая, и сразу же сделал открытие, поразившее его реальностью увиденного. В автобусе везли незнакомого бойца, раненного осколком во время ночной бомбежки, как раз тогда, когда Антон, забравшись в кузовок, уже крепенько спал себе, – и никто из возившихся с раненым не разбудил Антона и не сказал ему об этом ничего! Теперь это чуть расстроило его: все виделось ему вроде б в свете своего благодушного поведения – проявления, что ли, собственной негероичности, неучастия в чем-то очень важном.

– А я все проспал... – признался он, не то хвастаясь, не то винясь, Ире.

Она шурилась под ярким солнцем:

– Ах, мы поспали тоже – под бомбежкой удалось.

– Как же нашли его?

– Кого?

– Ну, бойца.

– Не искали. Солдаты нас остановили с просьбой: нет ли среди нас врача или санитаря. Майор Игнатьева его перевязала (у него ранение в руку) и распорядилась взять его с собой. Попутно в госпиталь доставим.

– А-а... Взгляну-ка на него...

– Может, он пить хочет? Чай собрались вскипятить.

Тщедушный, небольшенький, с забинтованной рукой от плеча и торсом боец – совсем еще ребенок – сидел, привалясь, в кресле. Взглянув на Антона, новое для него лицо, он устало улыбнулся, как будто прощая какую-то незначительность и суету. Точно для того, чтобы рассеять у людей обманчивое о себе впечатление, он, назвав себя Виктором, сказал, что ему восемнадцать лет уже и что он участвовал в боях, да вот споткнулся на ровном месте, считай.

Антон было подумал, что рана причиняет ему невыносимую боль; но, оказалось, он хмурился, переживая больше от того, что так глупо опростоволосился на переходе – и попал под осколок то ли бомбы, то ли зенитного снаряда и что вследствие этого теперь будет лежать в каком-нибудь прифронтовом госпитале и поэтому может отстать от своих товарищей. А за него так беспокоился напоследок взводный старшина. Безвыходность вынужденного бездействия, на какое обрекало его это дурацкое ранение, его ужасало. И то, что вокруг него сейчас в автобусе суетились все, помогая ему в недуге, к чему он явно не привык, его совсем обескураживало. Недаром он спрашивал у всех нервно: а скоро ли его вылечат примерно? А найдет ли он после этого свою часть? А далеко ли находится госпиталь, куда его везут? А нельзя ли отпустить его – ведь он ходячий еще и вылечится как-нибудь сам по себе: его же перевязали, дали попить, он отдохнул – чего же еще? Ведь ему крайне нужно скорей попасть вместе с ребятами на фронт, да и только. Одна задачка у него.

Беспокойство раненого предалось Антону, и возникшее было прежде сострадание к нему, отступило вдруг. Ему даже совестно стало сострадать тому в чем-то. Ведь он, Виктор, мечтал лишь о том, как бы побыстрее залечиться, чтобы снова встать в строй со своими товарищами по оружию и пойти в бой. И не одной его молодостью, как возможной причиной, объяснялось такое его состояние.

– Вон сейчас мы под елью устроим ему постельку, – приговаривал при нем о нем же, ровно о маленьком, нуждавшемся в ласковых руках взрослых, хлопочущий Стасюк, снуя туда-сюда с вещами. – Поможем ему, он перекусит, выпится, тогда другой разговор пойдет. Не правда ли?

Виктор молчал и взглядывал на всех. Точно обреченный.

Поэтому мы с Ирой также старались его успокоить.

– Спасибо! Спасибо! – благодарил он. И прикрывал в утомлении глаза. Потом неожиданно спросил у Антона: – А ты в госпиталь ко мне придешь? – Показалось, будто хотел спросить это именно у Иры.

– Приду, если будем стоять недалеко, – ответил Антон готовно.

– Да не обязательно... Я просто так спросил...

Привычная жизнь для всех, устроивших себе этот временный передых – пережидание в лесу, ничем не нарушалась, даже без привычного для каждого дела.

Приятно тонули голоса и шаги в мягкой прохладной и пахучей тени угрюмо насупленного мшистого леса, в котором преобладали ели с обросшими плесневелыми лишайниками стволами.

Анна Андреевна, налаживая чай, вскипяченный на костре, весело пожаловалась всем, что ей в сегодняшнюю ночь приснилось то, как сибирский кот все хотел ухватить ее за ногу. Что майор Игнатьева немедля и расшифровала уверенно:

– Это оттого, Андреевна, что у тебя, вероятно, не было поступления крови к мозгам.

– А что, разве я уж катастрофично старею? – воскликнула та с непридуманным ужасом.

– Не знаю. Наверное, к тому у нас идет, а не в обратную сторону.

– Вот тебе твоя дочка лучше скажет, стареем ли мы...

И опять был смех.

– Над чем вы смеетесь? – разулыбалась, сияя и подходя сюда, к компании, Ира.

Однако Игнатьева уже подошла к Шведову, несколько погрузневшему, осунувшемуся, – он собрался бриться. Глядя прямо в глаза ему своими выпукловатыми карими глазами, она заговорила с ним с веселостью, а он не знал, видимо, что делать, – смотрел и в глаза ей и на ее высокую грудь, и, поддерживая разговор с нею, чувствовал какую-то неловкость... Ему было, видимо, просто грустно отчего-то. Так нередко бывало с людьми на войне. И это, показалось Антону, объясняло все. Но иные взрослые люди, в том числе и Игнатьева, не замечая этого, может быть, старались выведать у него, почему он грустен и тем самым как бы выразить ему сочувствие.

– Игнат Стасович, далеко ли мы уехали за ночь? – спросил Антон у хлопотливого Стасюка.

– Километров этак девяносто проползли по-черепашьи.

Антон присвистнул разочарованно. Хотя все же так далеко от дома еще не заезжал никогда.

Наконец, вылезли на свет – ко всеобщему удовлетворению – заспанно-помятые капитан Ершов, автначальник, бывший завсегда с очень мирной физиономией и в миролюбивом настроении, и деловой снабженец Пехлер:

– О, не худо: едой уже запахло! Значит, вовремя поспели! И кто-то новенький здесь...

Все перекусили, сев кружком, с консервами, попили чай. А потом фактически слонялись кто где и подделывали что-нибудь – так коротали время. Дневное. Потом, после полудня, как вышла вся принесенная вода питьевая, Ира и Антон направились за ней с бидоном и ведром в деревню, к колодцу. Антону было интересно находиться в обществе с ненарочно восторгавшейся всем виденным Ирой, натурой более, чем он, чувствительной, воспитанной, без всякого жеманства и кокетства.

– Ой, незабудки! – воскликнула она и, живо опустившись к ручейку в канаве, сорвала несколько иссиня-голубых незабудок, словно оттенявших сильнее ее смеющиеся темно-карие глаза. – Странно в природе. Почти как Игнатьева вчера про глаза говорила... Такие красивые, нежные цветы – и растут среди самой грязи, выбирают такие места.

– Потому что они – влаголюбивые, – пояснил Антон.

Воздух был тепл, густ. Уже зацветала кое-где белым и нежным блекло-сиреневым цветом картофельная ботва.

Какой-то сумрачной просторностью и непохожестью на привычную для Антона отличалась местная заросшая деревьями малолюдная деревня: круто возвышались над строениями соломенные крыши, колодец был с длинным журавлем, и встретились им порознь лишь три женщины – обутые в лапти. Одна из них остановилась, озадаченная появлением гостей и, заметно якая, спросила с любопытством, кто же они такие и откуда. Они назвали себя. Она еще больше удивилась. И тут Антон как-то вдруг осознанней задумался над тем, что вплотную началось для него это новое: безвозвратно он уже входил в круг интересов и забот коллектива и учился жить в нем. Каждый час.

Они, радуясь чувству своей молодости, возвращались с водой назад, когда уже на прямом отрезке деревенской дороги, шедшей к месту их привала, увидели, что навстречу им полным ходом катились автобус и полупорка. Поставив ведро и бидон с водой наземь, они замахали руками и закричали: потом побежали вместе с ней, невольно ее расплескивая. Однако на повороте обе автомашины встали: едущие все же поджидали их... Из автобуса даже вышел капитан Шведов и нетерпеливо прокричал:

– Да воду-то вылейте! Не волоките зря!.. Ой-ой!

– Что случилось, товарищ капитан? – Антон и Ира добежали сюда запыхавшиеся.

– Что? Решили дальше ехать. Ну, скорее ж выливайте воду.

– Нет, дайте сначала напиться. – Прямо к ведру, с краю его, приложился, нагнувшись Терещенко. Напился досыта. – Вкусная, черт! Спасибо! – И еще подмигнул им.

За ним напился и вышедший из автобуса Чохели.

– А в бидоне, пожалуй, оставьте, дети, – велела высунувшись в окошко, Анна Андреевна. – Отлейте до половины.

Еще не за вечерело, когда по пути доставили Виктора в госпиталь: собственно, спешили из-за него. Две автомашины, уже не теряя одна другую из виду, резво разбежались среди других военных грузовиков по выпрямившемуся большаку, окаймленному с востока лесным листовым урочищем с деревьями средней величины, когда впереди справа показался с веточкой в руках шеголеватый, улыбающийся ефрейтор-связист Аистов.

– Вон, видишь, наш неизменный женишок вышел на свиданьице с нами, – пошутила для дочери Анна Андреевна.

Он молодо-весело поздоровался со всеми, только полупорка и автобус притормозили возле него, у едва приметной развилки, уводящей в урочище, впрыгнул на подножку полупорки и стал указывать направление дальнейшей езды; автомашины свернули влево, затем вправо, проехали по лесу примерно с километр, прежде чем остановились окончательно – завершили переезд.

«Что, и всех-то делов? Разместимся теперь в этом неприветливом лесу? Чем же он лучше только что покинутого ими? Чему же все радовались накануне?» И видел Антон точно, что и все будто бы с недоверием отнеслись к новому местоположению, где всем предстояло по-новому обустраиваться на неизвестно какой срок.

Где-то слышно погромыхивало.

VIII

В четырнадцать лет, откровенно признаться, Антона очень восхитил американский фильм «Очарован тобой», такой невоенный, развлекательный для просмотра в августе 1943 года. Влюбившийся герой фильма с завидной легкостью и изяществом делал с очаровательной девушки карандашный набросок, вместе с ней бил посуду, барахтался в пруду, потом пел одну песенку веселую, причем ехал в повозке на сене, болтая ногами, и другую – серьезную – объяснение в любви. Кинопередвижкой демонстрировался этот фильм в большой палатке, только что устроились лагерем западней Вязьмы, под густым зеленым пологом – в целях маскировки (из-за близости к фронту) – олешиника и осинника.

Назавтра вечером, на новом месте, Антон в жилой одноматчевой палатке доустроивал свою кровать – ивовыми прутьями привязывал (ни единого гвоздя не имелось) нетолстые ольховые стволы, настланные на перекладины, что держались в свою очередь на вбитых в землю колышках. Когда в палатку зашел милостиво разговорчивый усатый сержант Вилкин, друг молодежи, и сам молодой – еще двадцативосьмилетний: но казавшийся Антону степенно бывалым, независимым ни от кого, и спросил:

– Что, справился – сладил сам от начала до конца?

– Отчего ж не справиться? – удивился Антон вопросу. – Это ведь пустяк совсем.

– Вполне, – поддержал сержант, оживляясь. – Тут особенный какой-нибудь – скажем, вокальный – дар и не требуется вовсе. Ни к чему. Не арии же исполнять и скакать на ножке одной... Кстати, тебе-то понравился вчерашний кинофильм? Хорош?

– По-моему, он всем понравился. – В смущении воспитанник тоже присел на кровать.

Вилкин вздохнул:

– Да, мы очень уже соскучились по миру. Но в жизни, ты запомни, все равно нет ничего подобного, легкого, что давалось бы людям запросто... Стоит только захотеть... Ничего похожего... Обольщаться нечего... Для примера я могу рассказать одну близкую мне историю, если хочешь... Ну, слушаешь?

– Конечно, я хочу. – Антона очень привлекало все необычное в людях или случившееся с ними.

– Только давай, Антон, пройдем куда-нибудь подальше, чтобы нам не помешали, а? – встав, сказал сержант. И он тоже встал и пошел рядом с ним. Напрямик по леску, еще светлому, несумеречному.

Вилкин начал сразу на ходу:

– Родом я из-под Владимира, а смолоду жил по протекции дяди, оторвавшись от родных (поссорился с деспотом-отцом), в Москве; жил нетрудно, но и все-таки нелегко, потому что малость свихнулся (да поздновато) на инженерно-техническом поприще. – Он явно недоговаривал чего-то, и Антон не переспрашивал его и не уточнял ничего. – Хотя из меня не ахти какой новатор мог получиться, зато оторвался от крестьянствования; выпитывал вершки городской культуры и гордился, что научился быстро молотить языком, да выгодно выглядеть, как молодой человек.

В деревне вся моя родня уже колхозничала, и я наезжал сюда – по первости меня тянуло сильно: все не мог отвыкнуть от приволья природы и ласки материнской. Это должен знать ты по себе, Антон. Сестры мои невестились, бегали по гулянкам, и я с ними за компанию нет-нет и показывался там, хотя к танцам и певучим гуляночным страданиям был абсолютно равнодушен почему-то. Но в последний раз бес все-таки попутал меня, свихнутого балбеса.

Старшая сестра моя, Маша, как водится, подружилась – и потому и я познакомился – с молодой помощницей агронома. Было такое опытное хозяйство, а возглавлял его неловкий и оттого краснеющий немолодой Фома Кузьмич. Значит, как-то июльским вечером летящей походкой шел я куда-то мимо изб, да и увидел ее, Лиду, она вместе с этим агрономом, в доме кого и жила, убирала сено во двор – и я ввязался ей помочь. Так мы втроем сначала весело убрали под крышу свежее сено, сваленное у двора, а потом с наименьшей веселостью пили

чай в добротном пятистенном агрономовском доме. Собственно, чаевничали уже впятером. Угощала нас – пирожками да печеньем своего приготовления – скучливая Зинаида Андреевна, вторая жена бездетного Фомы Кузьмича; она удивительно походила всем существом своим на убежденную монахиню, – была вечно неприступно строгая и в мыслях, и в одежде. И еще присутствовала, но точно отбывая некую повинность, приехавшая погостить ее дочь Валентина, студентка, крупная (в отличие от нее) и пышноволосяя. Она-то держалась отчужденно, даже нелюдимо – игнорировала не только отчима, но и всех присутствующих, словно все отравляли ей само существование. Однако и за столом я был неумно и безбоязненно говорлив и, балагурия как иногда, веселил всех. Это свойство приходило ко мне тогда, когда мне становилось особенно легко, радостно.

Вилкин вывел Антона к тихой полноводной, извивавшейся в зарослях речке, за которой открывались кусочки простора, и, спустившись под деревца, на пахучую траву, продолжал:

– Мне просто нравилась (без всяких задних мыслей) милая, по-домашнему уютная Лида с ее загадочной полуулыбкой, ее кокетливо-женственно косящий взгляд; мне нравились ее горловой голос, ее прелестная выточенная шея, ее прелестные гибкие руки; мне нравилось, наконец, быть рядом с ней и видеть ее, ее разрумьянившееся лицо и ласково и благодарно блестящие глаза. В таком полувлюбленном к ней состоянии я был в этот вечер. К тому же, надо сказать, по-молодости я считал, что уже многое узнал из книг, из кино и от людей. И ведь многое удавалось мне, чего греха таить, сравнительно легко. Может быть, поэтому я и привык уже смотреть на все, в том числе и на сложные человеческие взаимоотношения, с некоей покровительственной легкостью: мне казалось, что люди сами порой необдуманно усложняют себе жизнь, усложняют безо всякой на то необходимости.

Правда, над этим я мало еще задумывался – не было причин; я не начал еще жить вполне самостоятельно, своей семьей, – о том, если думал, то думал будто вскользь, невзначай и как о совершенно непохожем на все виденное или узнанное мной.

Вероятно, все объяснялось прежде всего моей молодостью и свободой. И точно воодушевленная моим равнодушием к ней Лида поддерживала меня тоже весельем, как единомышленница или заговорщица. Поддаваясь нашему буйному нетерпению, хоть и сдержанно, но все-таки смеялись с нами заодно за чаем и хозяева.

Неместная Лида, приехав в наш колхоз, за неимением квартиры пока жила у агронома, в просторном его доме находилось и управление опытного хозяйства, хранились пробы выводимых сортов зерновых культур. От своей сестры, работавшей на опытном звеньевой, я хорошо уже узнал, каково же Лиде приходилось быть под началом несносного, привередливо-капризного и вдобавок еще ревнивого начальника. А я почему-то считал до этого, что у них родственные отношения, и тот пользовался как бы правом старшего. Теперь я с удивлением наблюдал за ним, не веря глазам своим: этот старый, беззубый и смешной хрыч, еще чего-то хотел от нее! И скалился, показывая вставные зубы. Возможно ли? Лида, точно забавляясь, прямо не отвергала его ухаживаний, а только румянилась и косила игривые глаза свои. И в этот раз я только ради нее вышучивал его подобные слабости. Смехом отомщал ему за все оскорбления и унижения, которые она испытывала, будучи невольной меж огней: с одной стороны – представления этого старого безумца (он ревниво-пылко опекал ее и в то же время выбранивал, что заботливый отец, в особенности за гулянье допоздна), с другой – постоянно настороженный взгляд надменной и пресной Зинаиды Андреевны, а еще вот Валентины, недоброй и холодной, что мрамор...

А когда сад за террасой расплылся в сумерках (уже зажгли керосиновую лампу) и на небе стали слабо вспыхивать отдаленные зарницы, и послышались затем легкие толчки грома – в деревне заиграл баян «страдание». Под звуки его наперебой в два голоса заливисто запели девушки. Пелись неизменные частушки, начинавшиеся в куплетах с припева: «Ой!» или «Ах!» или «Ох!». Для меня уже странен стал этот мир, хоть я и вышел из него: я уже воспринимал его

как-то не так, что все; я мысленно жил уже иными интересами. Но стоило мне тут поймать глаза Лиды, косившие на меня из-под ее разлетных бровей, благодарные и просящие о чем-то еще, как я понял все и, вставая из-за стола, предложил: «Может, мы ходим туда – прогуляемся?» – «Ведь утром рано вставать, Лидия Петровна», – пытался возразить агроном. «А как же, Фома Кузьмич: ведь мы молодые», – точно сказал я. «Уж лучше бы ты не говорила этого вслух, моя милая. – Вера также встала из-за стола. – Вот как сразу скажешь – сразу бунт. Так жду тебя – будем спать на сеновале».

И я еще раз подивился сложности ее положения здесь: со всех сторон глаза.

Незаметно Лида разоткровенничалась со мной, пока мы шли, и я узнал, что в ее родной деревне, откуда она приехала, жила ее мать с малым сыном, второклассником, и что еще один – старший брат – скитается где-то по стране. Он что-то строит и пишет стихи, сообщила она мне по большому секрету. Вот он-то полезный член общества, знает это. А она нисколько не чувствует себя такой. Смеется сама, а на душе все беспокойно... Как ей все же поступить: то ли остаться здесь, в колхозе, где нет для нее никакой перспективы, или уехать в какой-нибудь город, подобно Вере, и родительскую избу продать, и увезти с собой мать – изменить всю жизнь?

Что же мог я посоветовать? В ту пору идеалом для меня служила типичная сельская патриархальная жизнь со всеми связанными с нею заботами и интересами; в такой жизни, облагороженной природой, мне виделись тысячи преимуществ и удобств. Я говорил ей именно об этом – горячо и страстно, что проповедник; говорил, хотя и понимал отлично, что она просто хотела избавиться от покровительственного ухаживания своего начальника, а может быть и еще от чего-то попутно...

Гуляющая молодежь собралась у штабелей бревен, навезенных для стройки избы. Бревна служили вместо скамеек. Подойдя сюда, мы остановились чуть в сторонке от танцующих и продолжали разговаривать; мне чудилось, что она с большим вниманием слушала меня, ибо я видел в темноте ее задумчиво замороженные глаза, она точно ждала еще что-то очень важное, существенное.

На баяне залихватски играл высокий узколицый и чернявый заезжий щеголь. Красавин, кто знал себе цену и с особым шиком носил модные хромовые сапожки. Вот он сыграл очередной вальс – и передал баян другому парню на колени, а сам решительно поднялся и вместе с тем нерешительно как-то, к моему удивлению, подошел к стоявшей со мной девушке. И несмело позвал: «Идем-ка, Лида, потанцуем».

В ответ она отрицательно помотала головой. «Идем!» – попросил Красавин вновь.

Она вежливо, но твердо опять отказала – сказала, что не хочет. Тем самым явно дала ему понять, что не хочет именно с ним.

Робко он переминался перед ней: «Ну, почему же, Лида?» «Видишь, с человеком разговариваю...» – она не принимала его явного ухаживания и, более того, старалась как-то наказать его за эту надоедливость. Даже отвернулась от него, непреклонная.

Только после этого он покорно отошел прочь от нее, опять сел и взялся за баян.

Она лишь со мной потом потанцевала дважды.

Глубокой уже ночью, кляня себя в душе за то, что вроде б ненароком оказался на пути преданно влюбленного парня, я вел Лиду с гулянки, неловко прикасаясь к ней, за ее мягкую, податливую руку. До меня дошло, что я, наверное, своим отношением сегодняшним, дал ей, Лиде, повод, вот что. Повод подумать обо мне бог знает что. А когда я выходил уже из агрономовского палисадника, то и увидел возле калитки подпиравшего оградку – черной молчаливой тенью – этого баяниста Красавина. Значит, он следил за Лидой! Он еще надеялся на что-то...

«Ах, черт!» – проговорил я, поравнявшись с ним. – «Сандалетка свалилась с ноги». Нашу-пал тут же ногой ее и снова надел. И зябко передернул плечами с накинутым пиджаком, кото-

рый только что грел Лидины плечи. Было дивное состояние у меня, и хотелось мне заговорить с Красавиным, чтобы подбодрить его по-дружески, сказать, может быть, что я ему не враг.

Но только он мучительно молчал, раскуривая папироску. Будто бы не замечал меня.

IX

– На другой же день, – рассказывал Вилкин, – неожиданно приехал откуда-то отыскивавшийся старший Лидин брат, поэт, – с пышными, что у гусара, вьющимися бакенбардами и с какой-то провинциальной молодцеватостью во внешнем облике.

Спустя два дня и он вместе с радостно сиявшей Лидой провожали меня на действительную службу.

Из военной части, стало быть, из-под Москвы, я написал Лиде для приличия несколько веселых, забавных писем, и больше ничего; никакого намека на любовь к ней либо на какое-нибудь сильное мое влечение к ней не было в них, хотя она в своих письмах, адресованных мне, жаловалась на девичью судьбу, но не навязчиво, с достоинством и тактом. Раз прислала она мне фотографию, с которой она, стоя среди моей сестры Маши и брата своего на фоне плакучих деревенских берез, снова косила на меня глазами и загадочно полуулыбкой улыбалась мне. А однажды Лида сообщила мне о том, что вся ее семья, купив дом вместо проданного в ее глухой деревне, переехала на житье под Москву. То есть ближе ко мне. Представляешь!.. Теперь она работала на московской фабрике ткачихой.

Только не помчался я к ней тотчас. Вяло шедшая между нами от случая к случаю переписка сама собой прекратилась: никто из нас не поддерживал ее. Она уже знала, что у меня появилось серьезное чувство к одной девушке, на которой я и намеревался жениться. Но, демобилизовавшись, я, еще не женатый, вольный парень, все же вспомнил о славной Лиде и летним солнечным днем навестил ее.

Сидя со мной на простой скамейке, стоявшей возле избы, Лида тихо и мило ворковала со мной. И не отнимала свои дрожащие руки, вложенные ею в мои ладони. Обрадовано улыбалась.

Она, по-видимому, снова обрела надежду на нечто невозможное, что я не мог дать ей, о чем и не мог сказать. Дурацкое положение! Из-за этого я вновь клянул себя в душе: зря приехал к ней – этим самым ее обнадежил... На ее девичью долю и так много забот выпало... Она ежедневно ездила за сорок километров на электричке в город и еще в автобусе и выстаивала столько за ткацкими станками, среди оглушительного их грохота, помимо непрерывной черной работы по домашнему хозяйству. Оттого на лице ее – со знакомым добрым лисичьим выражением – и на шее заметней обозначились морщинки, а руки ее точно уменьшились.

Успокоило меня лишь одно: я тут же узнал от нее, что тот баянист Красавин, что ухаживал за ней надоедливо, приезжал к ней сюда, но что она окончательно отвергла его – и вовсе не из-за меня.

– Что же ты? – спросил я сочувственно, как будто отступнически – ради нее же самой. Ее счастья.

– За его пристрастие к водке, – сказала она, вздыхая. – Всем он хорош. И услужлив. Знаю: любил меня. Но закладывать любит. Ругается тогда матом. Нехорош... Боюсь!

– А может, остепенился бы, если бы был с тобой?

– Нет, я его уже не раз испытывала. Это бесполезно. Да и что говорить! Он уже женился, как мне написал. И сын родился у жены.

– Вот как скоро, нетрудно, – я усмехнулся. – Легкая жизнь!

– Нет, у тебя, я вижу, легкая жизнь, если все воспринимаешь весело, – кольнула она меня с обидой. Заслужил...

Так ли? По сравнению с ее жизнью – может быть...

И вот я, разговаривая с ней, мучительно думал: «Зачем же жизнь дает нам мнимые обязанности, от которых нельзя освободиться просто так?» Четыре года назад я не думал ни о любви, ни о женитьбе, еще меньше, хоть и любил, – что я мог бы славно подойти для этой роли. Я считал, что только-только начинаю свою жизнь. Что ж ругать себя за то, что так начинают жить?

В обычной чистенькой избе, стоявшей на краю села в тени деревьев, приветливо, из-за Лиды радуясь неожиданному гостю, суегились ее согбенная, как и все деревенские женщины, и мудроглазая, все понимающая, мать; исподлобья, настороженно, не понимая и не признавая ничьей радости и суеты, следил за всем упрямый лобастый мальчик лет двенадцати, ее младший брат. А в это время ее любимый старший брат с бакенбардами, Саша, умом и обаянием которого она так гордилась, неотвратно умирал, прикованный уже второй год к постели. Весь посеревший и высохший до неузнаваемости, он, не шевелясь, лежал в одном положении – до тех пор, покуда его не переворачивали – в темном углу на кровати и никого уже не узнавал почти, бредил; за время болезни руки его (лежавшие поверх одеяла) исхудали столь, что стали тонки, как палки.

Мне, живому, ходящему, рассуждающему и что-то еще желающему для себя человеку, стало очень неудобно за себя, когда я увидел перед собой умирающего так – казалось бы, ни от чего. Но Лида чего-то хотела, ждала от меня, раз я приехал к ней; она воспряла от этого ожидания, я видел. В своем доме она мной руководила. И я ей подчинялся. Чуть только оставившись на месте, словно запнувшись при мысли о том, не будет ли это корыстным, оскорбляющим для брата, она тихо, осторожно подвела меня к больному – как видно, с одной-единственной целью: чтобы тот все понял и в своей душе большой простил ее. Она представила ему меня, напомнила, кто я есть, – брат ее и даже не моргнул при этом. Он, пожалуй, уж не узнал меня; он лишь издавал какие-то гортанные звуки и выкатывая глаза, явно бредя и еще борясь всеми силами с подступившей к нему вплотную смертью, подступившей на глазах всех родных – здоровых, озабоченных, бессильных тут.

Жил ли вообще этот человек, о чем-то думавший когда-то, любивший что-то и кого-то и делавший что-то человеческое?

В небольшой кухне, отгороженной переборкой от светелки, куда Лида принесла несколько тетрадей, мелко и довольно аккуратно исписанных стихами, я их читал. И был в смятении. Пронзительная грусть и сила воображения в основном о неразделенной любви, любви настоящего поэта жила в его строках, лившихся рекой; он, вероятно, предчувствовал свой скорый конец и торопился довысказать все, чтоб не унести с собой какую-то таинственность. В любом из нас живет, наверное, своя таинственность.

«Вот и еще один безвестный и истинно русский, чистый и честный и горячий поэт гибнет, – подумал я. – Сколько ж их – бескорыстных, добрых и ясных? Как не похож я на них». – В минуты, когда я копался, что говорится, в себе, я стыдился и этого. Это не давало мне покоя так же, как и то, что вроде бы дал повод увериться в чем-то очень милой, неплохой девушке, у которой неудачно складывалась жизнь.

– И я опять исчез с горизонта, – признался сержант тоскливо, был как раз период моего отчаяния, когда становилось нужным жить в городе и устраивать заново свою жизнь. Но тот самый трудный для меня период прошел – и я все равно уже не показывался больше перед Лидой. Все внушал себе: потом съезжу; внушал больше затем, чтоб отогнать навязчивые мысли. Но потом показалось, что объяснить такое Лиде еще стыдней, бесчеловечней. И так я не смог уже поехать к ней, чтобы поклониться ей и объяснить причину этого.

Все закончилось у нас. То, чего, собственно, и не было. И быть-то не могло, я отчетливо все понимал.

Да, уже я встретил и полюбил другую, женился на ней. Но думал с грустью иногда: в самом деле, а могла бы стать для меня хорошим, близким другом Лида, та, перед которой мне

в душе вроде бы было стыдно? И снова видел ясно ее лисичью полуулыбку и устремленный в небо изумленный взгляд ее брата. А еще мне представлялось, как где-то, затаившись, торжествующе оскалится Фома Кузьмич, – от него-то я недалеко ушел со своим рационализмом – все делал словно нарочно, так, чтобы меня меньше беспокоило что-нибудь. Но что больше всего мне теперь хотелось бы – это еще раз (внимательней) прочитать стихи о любви того неизвестного никому поэта. Сбудется ли? – И сам себе Вилкин ответил: – Не знаю, не знаю... Ведь мы не всегда находим то, что нам нужно – одно могу уверенно сказать теперь. Себе самому. Многое теряем необдуманно.

И встал с травы примятой.

– А сколько же святых поэтов и вообще святых людей пожирает это чудовище – война? И подумать страшно. Ну, пошли! Слышишь, фронт рычит, оскалится? На ночь глядя...

Вскорости сержанта Вилкина перевели куда-то.

Х

По обыкновению военная часть устроилась в лесу.

– Антоша, проводи меня, пожалуйста, к палатке. В этом диком олешнике боюсь... и заблудиться можно... – ласково зашептала ему, мальчишке, в полутьме припозднившаяся в столовой смугловатая сержант Катя Горелова, очень милое существо, явно паникуя, зашептала в присутствии мужчин.

Он кивнул, удивленный несколько.

Уже при сумерках густых, августовских внезапно погас в палатках электрический свет, что бывало нередко, – перестал тархтеть движок. И зажженная спичкой плошка не спасала положение.

Пройти-то лесом – напрямиком – до семейного палаточного строения Кати – сущий пустяк! Она преувеличивала страх – было главное открытие для Антона; нет, не бомбежки или обстрелы пугали ее, а именно окружающая тьма и то, что немного расшумелась листва; больше от этого волновалась, вздрагивая. Разговаривая с Антоном и при зажженной свечке, она не отпускала его даже из двухместной, особо поднятой – до роста человеческого – палатки, до тех пор, покуда вновь не засветилась лампочка при заработавшем слышно движке. Тогда и отпустила:

– Ну, спасибо тебе, иди. Сейчас Гриша мой придет. Усталый...

Мягкая и приветливая ко всем без различия, Катя простушкой не была; она не выходила за пределы простого поведения, и в представлении Антона ее образ почему-то ассоциировался с образом Катюши из знаменитой песни. Хотя, однако, тут противоречило одно существенное обстоятельство: Катя Горелова была служившей женой при старшине Горелове, немногословном и даже насупленном вечно, скуластом, мощном механике. Каким-то образом в нашем Управлении ужились три такие семейные пары. Горелов был, судя по всему, отменный мастеровой. Всегда со сбитыми, в ссадинах и ожогах, либо испачканными в смазке и мазуте огромными ручищами, в комбинезоне, он без конца в своей подвижной кузне-мастерской что-то ковал, паял, сверлил, собирал и ремонтировал до седьмого пота, до редкого самозабвения. Безусловно, привычная жизнь рядом с ним страховала Катю от лишних напастей, не то, что было у наших женщин, матерей. Тем не менее Антону все-таки непонятно было, что могло объединить ее и его – они такие были разные...

Когда Антон вошел в спальную палатку, лежавший на самодельном березовом топчане ефрейтор Аистов (ему присвоили звание) читал потрепанную желтую книжку. Отвлечшись от ее страниц, он спросил с интересом:

– И как ты прогулялся, друг?

– Обыкновенно. По кустам, кочкам.

– Но, позволь, я мельком видел: ты ведь некую дамочку провожал..

– Разве она дамочка – Катя Горелова? По-моему...

– Ах, ее!... У нее же муж... – Он привстал с изумлением будто... Или это он так шутил натурально?

– Что ж такого? – не понял Антон его озадаченности. – Она побоялась...

– Нет, я-то о чем, – заговорил миролюбивей ефрейтор. – Если он, Горелов, узнает, чего доброго, – он шею тебе свернет за такие проводы, не потерпит, пойми! Страсть ревнучий. Я б не согласился.

Что, может быть, Аистов сам испытывал подобное и поэтому предупреждал так?

– Ну, кого ж тут ревновать? Меня-то? Не свернет.

– Смотри!

На следующий день Антон проходил мимо кузни старшины Горелова, где тот возился с металлом, и старшина закоптелый, распрямившись, хмуро позвал Антона.

– Вот возьми, приятель, – тебя угощает моя жинка. – Протянул он Антону бумажный кулек. – Папироской бы охотнее угостил тебя, да ты – пацан и еще не куришь.

– А это-то мне зачем?

– Так Катю мою провожал? Не испугался? – Он улыбнулся.

– А чего ж бояться? Это только некоторые женщины трусят – пугаются темноты.

– Вот и благодарю тебя. Бери.

– Ну, что вы, право! Не стоит...

Глядь, из-за его широкой спины, из-за кустов, сама Катя выплыла – улыбчивая, излучавшая один лад, покой. И Антону кстати подумалось, как же они оба ухитряются в таких условиях, на виду всех, любить и доверять друг другу. Видна была нежность обоих. И он уже не удивлялся тому, что они были рядом друг с другом, коли была такая возможность.

Кстати, увидав вновь Аистова на лесной тропинке, Антон показал ему кулек:

– Хочешь? Меня угостили.

– Кто? – удивился ефрейтор.

– Гореловы.

– А что?

– Конфеты, кажется. Карамельки.

– О, конфеты я люблю. Давай.

– А я не очень – не сладена, видно. – И Антон на радостях отдал ему почти весь кулек.

– Ну-ну! Удивительно! – Аистов подмигнул ему и рассмеялся – белозубый, вихрастый, тонкий, что жердь.

– Не веришь – пойдя, спроси.

Все запуталось у Антона с ним насчет того, кто кого разыгрывал.

– А съем все – еще принесешь?

– Если мне удастся в следующий раз.

Да, Антону становилось легче жить. Вследствие простой случайности его кругозор сразу расширился, будто он прикоснулся к какой-то заветной тайне, открывшейся ему отчасти, – прикоснулся к чужой судьбе с совершенно неожиданной стороны. Очень многое значило для него то, что взрослые доверялись ему просто и говорили с ним доверительно, ровно, уважительно.

Это был признак того, что он уже принят, как свой, в этой армейской семье, и ему было так приятно и лестно знать такое.

Вскоре поближе придвинулись к гудевшему фронту, стали обживать в белоствольном березовом урочище; восточней к нему примыкала поляна, на ней базировались наши боевые истребители – мотались, звеня, над головами. Зато заметно усилились немецкие обстрелы и бомбежки, причем доставалось иногда и от наших ошибочных бомбежек, проводимых У-2. До 11 раз в ночь выбегали из палаток, чтобы залезть в какую-нибудь земляную щель и переждать налет очередной. Чтобы спастись от обстрелов, сержант Хоменко порой, даже по ночам, когда безопасней, ползком доставлял в часть почту. И так изо дня в день.

Но были и приятные просветы.

Анна Андреевна из Ахтубы, неизменный шеф-повар в белом фартуке и косынке, словно признанный командир, вдруг возгласила в нетерпении:

– Что ж вы, родненькие, не спешите?!... Я просила ж вас пойти – пособирать грибков к обеду... а вы... вы забыли об этом, что ли? Сделаю деликатес для ребят... Очень хочется мне накормить всех повкусней – свежей домашней едой.

Ее призыв в равной степени касался основательного солдата Стасюка, крепко сбитого и с красновато обожженным солнцем лицом, а также Антона.

– Мы уже идем, – сказал Антон.

– Да, Андреевна, сейчас топаем, – виновато подтвердил и несуетливый Стасик. И тоже взялся за душку ведра. – Только маленько затянусь махорочкой.

– Только, смотрите, съедобных наберите, – наказала Анна Андреевна.

Ребята для нее были бойцы, кого она, хоть и молодая еще женщина, баловала, можно сказать, с любовной нежностью, словно собственных детей, – она пеклась о них по призванию сердечному, готовя пищу, не иначе. Все прекрасно видели это.

Стасюк жадно докуривал окурок:

– Сейчас... Ножичек возьму... Чтоб по-настоящему... Подрезать... И вот курево при-тушу. А то никак нельзя с ним туда, в пушу... Сушь...

– Позвольте, что вы всерьез поищите грибов? – изумилась, замедлив шаги, военврач капитан Суренкова, такая явно невоенная женщина, хоть и была к гимнастерке.

– Да, взаправду пойдем по грибы, – подтвердил Антон, будучи в каком-то приподнятом настроении оттого, что находился здесь и путешествовал так с военными по прекраснейшим местам России, о чем с малых лет мечтал, – приходите попробовать жаркое.

– О, обязательно приду, – ответила весело капитан.

– А куда пойдем, парень? – спросил Стасюк.

– Наверно, лучше углубиться к западу. Куда ж еще? – прикинул для себя Антон.

– Так считаешь?

– Там вроде бы почище и грибнее, сдается мне, лес. А туда, северней, куда мы ездили на колодец за водой, – бесполезно, сами знаете: там – бывлая стоянка немецко-фашистской части. Доты, ходы сообщения, колючая проволока, покореженные деревья... Могут быть и мины.

– Ну, пошли сюда! Согласен... Веди... Как разведчик... Доверяюсь.

Было тепло. И благоуханно, терпко-смолисто, тенисто в пуше. С хрустом ломались под ногами сухие веточки. Но уже опять разом взорвана тишина: поднялся артиллерийский тарарам. И странен был разговор у грибников под это буханье снарядов.

Сначала им маслята попались – они не стали их собирать. Потом волнушки пошли.

– Волнушки... Все серые. Сразу их надо вымочить как следует... – говорил Стасюк. – Холодной водичкой залить. Так... Два-три дня постоять дать. Потом, значит, варить, обязательно посолить. Хорошо прокипятить, потом, значит, холодной водой промыть через ситце, дуршлаг. Сюда укропчик, чесночек заправить. Потом опять слой грибков...

– И водой уже не заливать? – спросил Антон.

– Не надо. В них, грибках, хватает собственной воды, – сказал Стасюк. – И хорошо еще, значит, – добавить листочков с кустов черной смородины, для душистости...

– Знаю, Игнат Стасович: мой отец, бывало, – и Антон вздохнул, – так огурцы засаливал. Любил повозиться с ними...

– Сверху заложить тяжелым чем-нибудь: груз! И – готово!

Затем им рыжики попались. Дальше больше. Так что далеко идти им не пришлось.

Антон не хотел брать маленький боровик – решил: пусть подрастет.

Его напарник засмеялся:

– Дело в том, что никто не видел и не знает, как грибы фактически растут. Когда я жил в панской Польше, я знал хорошие грибные места и ходил туда и приносил одни белые, хотя не очень люблю есть грибы в любом виде – они для меня, значит, ничто. Я очень люблю их собирать. Такое это удовольствие. Вот идешь ты, а он стоит, играет с тобой в прятки... Так вот было как-то и со мной, значит, вижу, небольшененький белый грибочек, думаю: «Нет, не стоит рвать, погожу до завтра – вырастет». Назавтра прихожу на старое место – он опять такой же. Ничуть не прибавил. Послезавтра – опять: не прибавился в величине. Говорят, не любят грибы человеческий глаз: если посмотришь, то перестают расти. Как они растут? Это ж химия... Когда влага. Газом вмиг надуется, выскочит из под земли. И какой гриб надулся за раз, такой и будет – больше уже не прибавится. Больше, значит, запаса газов нет.

Но Антон все же не сорвал этот маленький боровичок: Стасюк его не убедил.

На диво здесь лес, росший не скученно, был еще более чист, подборист, трава негуста, низка (мешали грибникам ходить разве что только сухие, веерообразно отходившие от стволов сосняка веточки – можно было напороться на них) и надутые в основном мраморно-коричневые шляпки боровиков с желтоватой как бы подкладкой и упругой белой ножкой весело торчали из нее повсюду, группками. И все-то они являлись, как на подбор, – сочные, нечервивые, точно кто нарочно наставил их столько, чтобы изумить. И Антон изумлялся (такого количества их еще нигде не видывал). Он даже испытывал в душе уже и некоторое разочарование от небывалой простоты их сбора: не пришлось буквально ползать под кустами, ветками и разгребать лесную подстилку из травы и опавшей листвы, порой похожей на грибные шляпки. Но, главное, хотелось брать грибы больше и больше, сколько могли руки унести, – общая болезнь всех грибников.

Быстро ведра были полны добычей...

– Молодчина, ты шустро грибки собираешь, видишь! – похвалил Антона бывалый Стасюк, когда их уже некуда было больше класть.

– А они и не прячутся тут – все на виду, – нашелся Антон.

– Много, значит, что ты молод – скор на ногу; скачешь, что вьюнок, туда-сюда. Зырк-зырк. За тобою не угонишься. Ты много грибничал, скажи?

– Нет, только до войны... И все...

– Да, стало всем не до грибов: собирать-то некому...

В небе нарастал неровный самолетный гул. Он заставил Антона вскинуть голову. На его глазах шедший на посадку истребитель «Як» вдруг, чихнув мотором и неловко клюнув носом, и перевернувшись, начал падать; комочком выбросился из него пилот, плеснув шлейфом парашюта. Вот и раскрылся парашют – белый, легкий, грациозно закачался он, снижаясь, в просторной синеве, над зелеными макушками деревьев, почти в тот же самый момент, как содрогнул землю тупой удар упавшего истребителя.

– Может, помощь там нужна? – спохватился Антон после некоторого оцепенения. – Сбегаю туда?

– Давай тогда свое ведро, – сразу предложил, посумрачнев, Стасюк. – Мои-то кочелды уже не так быстры – не угоняться, не обессудь.

– Ну, что ты, что ты! – И Антон помчался в направлении падения истребителя и вероятного приземления летчика, куда его сносило упругим ветром.

Да, сколько раз особенно прошлым летом подо Ржевом Кашин наблюдал падение сбитых, объятых пламенем немецких и наших самолетов, в том числе и прекрасных бесстрашных «Илов», и видел их, упавшие, вблизи; но он еще не видел очень близко спасшихся летчиков, так что каждая связанная с этим человеческая трагедия представлялась ему неполной, как бы несколько обезличенной, что ли.

Что это так он почувствовал тотчас же, когда в конце-концов, разгоряченный, выскочив из лесных зарослей на этот край солнечной поляны, увидел прямо и непосредственно в лицо уже спустившегося на парашюте героя – живого, невредимого. Заметный сразу среди сбежавшихся людей, товарищей своих, у островка кустарника и берез, в высокой спелой траве, он, в темном шлеме и комбинезоне, стоял в их окружении мрачный и чумазый.

Все его мысли, должно, еще кипели внутри борьбой, только что происходившей там, в воздухе, и его словно какое-то пристыженное в то же время состояние поразили Антона больше всего из того, что он уже привычно видел прежде; несмотря на вроде бы застыло-отрешенный вид летчика, его дрогнувшее скуластое лицо выражало скорей всего отчаяние от случившегося и невыразимую боль и досаду на себя, как будто он один был виноват во всем, кругом один, – что не сумел-таки дотянуть до аэродрома и спасти подбитую боевую машину – истребитель. Ведь почти уж дотянул! И в этом ему сейчас никто не мог помочь ничем, понимали все.

Набежавшая в основном с аэродрома толпа, бессильно обсуждая случай, волновалась, жила. А летчик внешне неподвижно и бесстрастно уставился только прямо туда в кромку леса, куда – среди трех сосен – рухнул носом его истребитель и всюю горел, треща, сжигая и деревья в запылавшем жирном факеле – в некотором отдалении отсюда. И, казалось, даже и при ясном дне жаркий и черный отсвет отражался в глазах летчика, на его лице. Там слышно уже рвались неизрасходованные боеприпасы, мог взорваться и сам самолет. Поэтому ближе никто не подходил. Лишь один смельчак, на которого поначалу шикали, приблизился зачем-то...

Точно не замечая никого и ничего, и никакой природной благодати, летчик, видно, действительно еще был весь там, наверху, в небе, где только что, пронзая, подобно огненно-красной стреле, облака, разил проклятого врага, нагло покусившегося на чужое. Понятно, для таких бойцов, падающих с неба, хуже нет того, чтобы в самый разгар боев остаться без боевого друга – машины, послушной, не подводившей никогда; хуже нет похоронить ее неожиданно и почувствовать себя, хоть и временно, не у настоящего дела. В этой потере горе было невозместимым – он на какое-то время выбывал из общенародной борьбы.

Только через состояние летчика, которое Антон увидел, он увидел трагедию по-новому: что говорится, вживь – такой, какой она бывала для всех летчиков, для всех смелых настоящих воинов.

Возвращаясь, Кашин не сразу заметил на опушке капитана Суренкову, затихшую в каком-то ожидании. Она тоже, значит, прибежала сюда!

– Догорает, ничего не сделаешь, – по-взрослому рассудительно проговорил Антон, подходя. – А мы-то все-таки грибов насобирали – много, товарищ капитан...

И осекся. Невзначай сорвавшиеся нелепые, глупейшие слова, никак неуместные здесь теперь, в такой момент, замерли на его губах. Какие тут грибы? Причем они? До них ли?.. Опять он невпопад? Чувство возникло такое, будто опять он был в стороне от чего-то главного, большого. Благо то, что она его не слышала и, больше того, не видела, кажется. Отсюда, из-под свесившейся густой, тенистой кроны раздвоенной сосны, она наблюдала, а вернее, созерцала, затихнув, все происходившее перед ней широко открытыми грустными глазами.

Говорил кто-то, что ее родной брат служил то ли моряком, то ли морским летчиком на Балтике. Она не получала от него никаких вестей уже с осени 1941 года. Как и Кашины – от отца. Из-под Ленинграда.

В послеобеденный же час приехали на конной повозке с квадратными цинковыми баками за водой в северный край урочища. Где, казалось, гложла тесно, хмуро – угрюмо лесная чаща, мало пропускавшая солнечный свет; здесь никакая птичка не порхала, не свиристела – царила настороженность во всем, хотя и близко отсюда снаряды рвались. В этой части леса гитлеровцы долго пребывали и обстоятельно, с неким комфортом для себя оборудовали целый земляной укрепленный городок с вырытым колодцем на окраине. Рядом с местоположением служак – управленцев никакой реки не протекало, не было никакого водоема. Так что управленцы стали пользоваться водой из этого колодца, который открыли; медики, взяв пробы, проверили и убедились в том, что вода в нем не была отравлена. Немцы поспешно убрались отсюда под натиском советских войск.

Да, здесь только что гнездились кровожадное немецкое воронье, и еще мрак от него расходился в округе, пугал приходящих сюда; Антона, да и Стасюк тоже, испытывали состояние, близкое к тому, будто за ними, безоружными, внимательно следили из-за укрытий холодные вражьи глаза.

И с холодком же в груди Антона вспоминал один случай. В январе же этого 1943 года он и младший брат Саша лазали в своем заказнике по немецким, вроде бы уже покинутым землянкам, и когда в одной из них на радостях крушили портрет Гитлера в рамке под стеклом и что-то еще среди поднятого звона им послышался звук подъехавшей легковушки, а затем голоса немцев:

– Was ist das? (Что такое?)

Да и увидав в окошечном проеме вдруг черные немецкие офицерские сапоги, мигом сиганули вон – вверх по ступенькам. Немецкий офицер был со свитой. Ладно, что немцы почему-то поленились спуститься вниз. А то было бы худо братьям, успевшим как-то улизнуть от них с ребячьей проворностью.

Сколько же было смертельно опасного каждый день для советских людей во время немецкой оккупации! Все ли просто так отодвинется в памяти у них в прошлое под зеленым сводом дороги, как сейчас у Антона?

Повозка с полными водой кубами прыгала на проступавших узлами корней деревьев.

XII

С самого утра снова бухало-рвалось на фронте под Смоленском – вон за синевшим гребнем леса; наши бойцы мало-помалу, выбивая с позиций отступавших немцев, продвигались вперед. Следом перебазировалось и прифронтовое Управление госпиталей. Определилось уже в селе. Антон здесь спешил вниз, к речке, когда перед ним возник солдат Стасик, негласный его наставник. Он шел озабоченно-печальный. Его темное небритое лицо покрывали мелкие капельки испарины. И он было совсем прошел мимо идущего почти навстречу ему Антона, прошел по тропке, как если бы сразу не признавая, либо не замечая его, подростка, и не поздоровавшись с ним намеренно или позабывчиво. Лишь затем – в последний момент повел на него глазами, полуобернувшись и попридержав свой шаг, – взглядом как бы заранее осуждающим за могущую быть в нем легкомысленную, не подобающую случаю юношескую веселость.

И Стасюк приостановился на миг:

– Ах, ты, парень, значит, ничего еще не знаешь?! – сказал резковато, характерно по-польски пришепетывая, в ответ на вопрошающий взгляд удивленного Антона. Он был широкоплеч, но вместе с тем костист, в застиранной добела гимнастерке и в облезлых армейских ботинках с обмотками. В общем уже распространенный тип служаки-работяги на все руки.

– А что? – Антон стронулся назад – к нему. – Что-нибудь случилось?

– Да, несчастье... Капитан Ершов убит... И Егоров Сашка, ездовой... – сообщил Стасюк, что ошеломило Антона:

- Как убиты?!
- Они ехали вечером в фурманке и подорвались на mine...
- Где же, Стасыч?
- Недалече. На лесной дороге. Я поеду за ними. Мне старший лейтенант приказал. А ты уж помоги Андреевне на кухне... с водой, с дровами... Ладно?
- Ну, не беспокойся Стасыч, сделаю это... Езжай...
- И тут где-то невдалеке снова грохнул взрыв.

Заросшая кустарником и затравеневшая речушка журчала водой. Две перекинутые над ней доски заплескали под ногами Антона, и затем тропинка повела его к стоявшему у картофельника старому сараю, из-под соломенной крыши которого вился горьковатый дым. Тянуло отсюда запахом варева.

В этом пустовавшем сенном сарае, срубленном на венец, разместили армейскую кухню: в одной его половине наспех сложили печь-временку – для пятиведерного котла, чтобы варить супы, борщи, и плитку, а в другой – установили три примитивнейших стола, положив на колья, вбитые в землю, доски, что служило походной столовой.

В сарае послышался женский смех, и Антон отчаянно вошел туда. И почувствовал себя очень и очень маленьким. Да, там, где присутствуют женщины, всегда уютнее быть. Но не теперь это следовало чувствовать.

Анна Андреевна, повар, в белом фартуке и в серой вязаной кофточке с закатанными рукавами, хлопотала у плиты, держа в руке чашку; около нее, в двух шагах стояла Рая, вольнонаемная из штаба, прелестная блондинка, по возрасту годившаяся ей в дочери, и, раздумываясь, заговорщически рассказывала ей про что-то, должно быть, весьма занимательное, интересное. Они пока еще не видели, что Антон вошел, и, продолжая необычный для последнего времени интимно-оживленный разговор, смеялись так непринужденно.

Ему было как-то неловко присутствовать при сем. А они обе, казалось, и ничуть не понимали этого или же не придавали этому абсолютно никакого значения.

– Ну и он, капитан, пришел? – торопила Раю Анна Андреевна.

– Да как же ему не придти ко мне, когда я сама хотела этого, – возбужденно отвечала Рая. – Пришел голубь... Глаза горят в темноте... Мне даже страшновато стало. Но несчастье вдруг свалилось – усатый черт, дежурный офицер, засветил фонариком...

– Ну, пройдошливый какой: все унюхал!

Анна Андреевна, очевидно, не умела спокойно-равнодушно смотреть на молодежь – завсегда покровительствовала ей во всем. В ней проявлялся подлинно глубинный интерес к жизни окружающих людей, нуждавшихся очень часто если не в чьей-то помощи, то хотя бы в простом сердечном участии, и она-то обладала в большой степени таким бесценным качеством. Она вечно опекала дочь Иру, гордясь ее умом, ее непосредственностью и какой-то южной красотой. Относилась и к Антону по-матерински. Покровительствовала многим девушкам, принимая живое участие в их судьбе. Очевидно, ее желанием помочь, осчастливить своим житейским опытом руководило отчасти еще чувство прошлой собственной неудовлетворенности, либо тоска по неузнанному ею счастью в замужестве: ее насильно в шестнадцать лет выдали замуж за коневода, и он увез ее в глухую заволжскую степь (там впоследствии убили его бандиты), и она впряглась в семейную жизнь, так и не увидела своей молодости, признавалась она как-то.

Рая прибегала к ней пошептать. Обычно в послеобеденное время или вечерние часы, когда Анна Андреевна была посвободней. Причем она мало замечала Антона.

Было в Рае что-то бесовское. Она, веселая, жила и дорожила безмерно чем-то личным и ничем другим. Но когда она, например, стеснялась чего-нибудь или кого-нибудь, – тоненький нежный голосок ее дрожал и быть чуть слышен, а краска огнем заливала ее премилое лицо.

В последние же дни в ее поведении было что-то радостно-совестливое, потому она и чаще краснела при встрече с сослуживцами.

– И что ж дальше? – спросила ее снова Анна Андреевна.

– Слышу: фонарик шелк! Засветил мне в лицо. А я, сама понимаешь... Дрожу... Молчу... Он, разумеется, сказал мне нагло гадость... – И Рая, подвинувшись ближе к Анне Андреевне, зашептала что-то ей на ухо, и Анна Андреевна подхмыкивала.

«Какой же это капитан с горящими глазами? – еще машинально подумал Антон. – Может Веселов? Ведь именно к нему она теперь подходит часто и особенно ласково заглядывает ему в глаза». – И шагнул к женщинам, здороваясь.

Слегка прищурившись на него, Анна Андреевна причмокнула, пробормотав нечто вроде: «Ай!» и покачала головой не то на себя, не то по поводу его неожиданного появления.

– Ах, это ты?! – сказала она, непритворно удивляясь. – А я думала: Игнат. Куда-то он запропастился нынче. – Она переглянулась тотчас с Раей, и та, порозовев под цвет своей кофточки, недвусмысленно развела руками, улыбаясь.

Антон, собравшись с духом, выпалил:

– Вы знаете... капитана Ершова, автначальника, убило. Вместе с ездовым Егоровым. Стасюк за ними едет.

Услышав это, Анна Андреевна вмиг изменилась в лице и первоначально не знала куда ей руки деть. Но они бессильно опустились. Чашка выпала из ее руки. И она не поднимала ее с земли: казалось, она до конца осмысливала сама с собой все значение случившегося.

– Нет, не может быть, Антон! Нас же не бомбили, кажется, ночью... – Она, как и все, наверное, уже привыкла к тому, что хотя все кругом гремело, но здесь никого не задевало – миловало.

Со страхом она взглянула на Раю. Та, побледневшая и сразу ослабевшая, обеими руками оперлась о стол, и точно слепая, уставилась на Антона и вроде бы мимо него.

– Они на mine подорвались где-то по дороге. – Антон поднял чашку, поставил на стол.

Анна Андреевна мгновение молчала. И спросила извинительно:

– Но, Антон... Почему они попали вместе?

– Очевидно, капитан поехал с ездовым...

– То-то я припоминаю, да: вчера он, Ершов, был забываемо веселым, разговорчивым, чего я давно за ним не замечала. Ты знаешь, голубчик, – Анна Андреевна будто обращаясь к забывшемуся ребенку, пытаюсь привлечь внимание Раи к своему рассказу, – я, задумчивая, шла к себе и наткнулась на него, – ну, буквально нос к носу, – на самой перекладине через речку. – Она обняла за плечи Раю, став с нею рядом и заглядывая в ее сухие немигающие глаза. – Ну, что ты, Раечка! Рая!

Та подняла на Анну Андреевну сухие глаза и только.

– Я хотела уступить ему дорогу (я никуда не торопилась); но он вдруг засмеялся и сказал мне, что никак нельзя: если я вернусь назад, то дороги мне не будет. Это плохой признак. Весело схватил меня за руки, и так мы с ним разминулись над самой этой речкой. Я думала, что в ручку ужогу. Голова у меня закружилась и я уже потеряла было равновесие. Да только он удержал меня вовремя. Ну, Рая! Раечка! Посмотри на меня... И потом шутливо говорил мне какие-то комплименты. Он даже в краску меня вогнал. Нет, видно, предчувствовал свою гибель: был такой необыкновенный, как никогда. А этот Егоров мне всегда казался сыном, робким и доверчивым. – И она, не в силах более сдержаться, проронила первые выкатившиеся слезы и поднесла подол фартука к глазам.

Рая между тем оставалась в том же положении, как замерла; она не плакала и не двигалась и, вероятно, ничего не слышала сейчас. Поэтому Анна Андреевна суежилась около нее, пыталась расшевелить ее.

– Раечка, голубчик мой, присядь, присядь сюда. – Усадила ее к столу.

Усаженная Рая онемело, сидела минут десять: ничем нельзя было ее растормошить, да и трогать ее было нельзя.

– Где ж они погибли, ты не знаешь? – зашептала, плача и наблюдая за ней краем глаза, Анна Андреевна.

– То, видимо, Горохов знает, – зашептал и Антон в ответ ей, увидев шедшего сюда начальника хозяйственной службы.

Горохов был еще сравнительно молодой, однако обыкновенно расхаживал с таким видом, как будто что-то потерял по чьей-то вине, потерял уже давно и теперь продолжал везде искать потерянное. И поэтому-то он как раз забрел сюда – невозможно мрачный и насупленный; так, и без видимой причины, он любил напускать на себя сердитость, озабоченность – единственно ради того, чтобы казаться всем начальственной, а значит, и серьезней, чем был на самом деле. Есть такие люди.

– А-а, вы о несчастье уже знаете, – сказал он непривычно тихо, приблизившись и не здороваясь, по-видимому, от волнения. Анна Андреевна всхлипнула опять и хотела сказать что-то, но лишь торопливо кивнула в ответ головой, глотая слезы. Помешала кашу. И потом спросила у него:

– Как же все случилось, Павел Дмитрич?

– Они наехали на мину – она сработала под самой брочкой, понимаете! – он пошевелил своими пышными рожками усами. – Все там, по дороге, ездили вдоль и поперек. На грузовиках... А тут легковесная, нагруженная подвода ехала – и вдруг рвануло...

– Видно, невезучие...

– И я тоже услужил, называется: предложил им – проще, безопаснее – на лошадях добраться, а не на машине. За частями запасными. Кто же знал! – Горохов волновался: у него в карманах брюк и гимнастерки было полно всяких бумажек, вплоть до писем-треугольников, они даже торчали наружу, и сейчас, во время разговора, он начал вытаскивать их по очереди; мельком просматривал он их и то рвал, а то и так бросал в огонь под плиту, наклоняясь над ней. – Машин свободных нет – все развозят раненых по госпиталям, то, се. На фронте-то жарко. Наши бойцы уже вошли во вкус наступления, тузят и тузят вражину из нашего гнезда.

Да, был действительно уже заметный поворот в действиях советских войск, что сказывалось на всеобщем настроении наших бойцов, энергично рвавшихся в бой с подлым врагом. Так при переезде сюда, в селение, служившие из Управления встречались по-дорожному с ранеными в боях: те, получив в медсанбате первую медицинскую помощь, самостоятельно направлялись в ближайший госпиталь – и очень неохотно. Они жаждали лишь подлечиться малость и скорей опять сбежать на передовую, чтобы бить и своротить оголтелого врага с советской территории.

– А такой приветливый он был накануне, – проговорила Анна Андреевна тихо.

– И вот до чего же умные лошади, – сказал лейтенант: – их что бритвой отрезало взрывом от брочки – остались целехоньки и невредимы, без единой царапинки, и как они отошли немного от места взрыва, – как вдруг обнаружил в сарае еще одно лицо, безучастное к разговору, – так и простояли почти рядом с погибшими всю ночь. – И сердито засопел, наконец узнав посетительницу.

После чего Рая вдруг выпрямилась и, все также ни на кого не глядя, медленно встала со скамьи и пошла вон; но едва она, натываясь на углы, достигла выхода, как рванулась, тонко всплакнула и, точно легкий ветер, понеслась отсюда прочь.

– Вот до чего доводится. – Горохов нервно дернул опять усами. – Ладно... Что же я хотел сказать? Зачем пришел? Да... Сегодня похороны. Так что обед готовьте попозже обычного. Понятно, Анна Андреевна? – повернулся и отправился себе. Целеустремленный.

ХШ

Антон Кашин наряду с другими, пришедшими отдать воинам последний долг, переступил высокий выбитый порог крестьянской избы, в которой на возвышении лежали погибшие, споткнулся обо что-то и замер в людной тихой полутемной горнице. Здесь был мир вечного покоя. Спокойно-величавы лица убитых.

Смерть, наверное, страшна самой таинственностью. Но двое убитых недвижно лежали с таким безучастным выражением на лицах, будто говорили всем открыто и понятно: «Что бы вы ни говорили, хотите верьте, хотите нет, а наше дело сделано». И Антон уже без прежнего страха смотрел на них. Тем сильнее чувствовал, хоть и не понимал, несовместимость чего-то: они и цветы; темнота помещения и солнца за окнами; тишина, стрекот кузнечиков и взрывы снарядов; Горохов и Рая, возникшая рядом с ним.

У хозяйки избы глаза тоже красные. И она, простая русская крестьянка, мать нескольких детей, иссушенная горем и невыносимыми тревогами за самых меньших, трепетно стояла, почерневшая, в обвислом горошковом сарафане, с покрасневшими мокрыми глазами, в изголовьях погибших мужчин – молилась над обоими, шевеля бескровными губами.

Две новые пирамидки со звездами наверху встали над свежими холмиками могил под раскидистым придорожным вязом с пораненным стволом фугасными осколками. Трижды сухо прогремел салют из винтовок. Ему аукнулся невдали новый звучный взрыв.

Вечером, позднее других, уже когда ушел из столовой и лейтенант Горохов, офицер упрямый до жестокости и въедливый не по-мужски (Антон в этом успел убедиться), сюда пришли с тем, чтобы поужинать, затихшая Рая с приклеенным к ней гладковатым капитаном Шестовым, имевшим не лицо, а почти картинку. Сладкое лицо!

Так вот что означали ее слова, сказанные ею утром Анне Андреевне! Теперь Антон понимал их значение. Шестов, весьма довольный – ему, по-видимому, очень нравилось быть вместе с Раей, служить ей, виляя хвостиком, – сел за стол напротив ее, улыбался с превосходством и нежно спрашивал у нее:

- Что ты, ангел, заболела?
- Нет, откуда взял? – Она кротко, но дичилась.
- Так. И голос нынче у тебя какой-то.
- Ты хочешь сказать: чужой?

У нее, точно, на некоторое время изменился голос.

– Ну, так что ж, дружочек? – говорил он, наклоняясь к ней, тоже почти женским, но изворотливым голосом, в котором слышалась одна нежность и, разумеется, участливость. – Ну, скажи мне, я прошу. – Ему, по всей, стало нужно – и он испытывал эту потребность – повторить то, что он ей говорил всегда с какою-то значительностью.

– Не знаю. – Она как-то повела плечами, ежась, словно озябла. – Или я уже разочаровалась во всем этом, а?

– Может быть. – Он хохотнул неестественно, пристально глядя на нее, такую юную и настроенную на философский лад. – Все тут может быть. Покой не загадаешь.

В налете вечернего августовского полусумрака в сарае выделялось бледнотой ее печальное лицо и чернели глаза.

– Ну, так что же, Раюшка? – допытывался он негромко.

– А можно я потом, потом скажу? – напротив, громче проговорила Рая.

– Хорошо: скажи потом. Только обязательно скажи. Ведь ты по обыкновению потом забываешь вовсе.

– Что – укор? Нет, я постараюсь помнить.

– Ох, смотри!

После этого Рая как-то скованно, не поворачивая головы, привстала, двинулась вдоль стола, да обессилела, побледнела, раз-другой глотнула приоткрывшимся ртом воздух и, теряя сознание, стала падать-валиться набок, как подкошенная. С завидною проворностью Анна Андреевна успела поддержать ее, бесчувственную. Подбежала только что вошедшая стройненькая Ира:

– Мама, мама, что такое с ней?

– Тихо, не кричи, – вполголоса сказала Анна Андреевна. – Она ждет ребенка. Обморок. Пройдет. Вот сюда давай ее усадим.

И Ира с нескрываемо – растерянным удивлением уставилась в лицо Шестова. Тот пыхтел, краснел. Жадно закурил папироску. Молча встал и смылся восвояси.

– Видишь ли, ему, капитану, уж присваивают звание майора, – проворчала Анна Андреевна, – и поэтому, дескать, он не намерен и ослушаться начальства и приказа относительно ее. А ведь интеллигентный с виду.

– Да, более или менее, – сказала Ира.

– Глаза бы не глядели на него. Ну, голубушка, пришла в себя? Слава Богу...

– Аннушка, пожалуйста, научи меня, как мне лучше поступить, – иступленно взывала ожившая снова Рая, с легким румянцем смущения на щеках, но не стеснялась уже говорить в открытую. – Ведь ты поумней меня – и можешь научить. Ну, новое направление мне дадут, снимут его... а я не хочу такого: я немедля уеду домой. И мне будет, вероятно, радостно.

Уезжать теперь, когда война еще не кончилась, да еще и с радостью – это Антона удивило сильно.

– Я не умная, Раечка, просто у меня опыт жизни больше, – невесело говорила Анна Андреевна. – Я уж старой делаюсь. Смотрю на все проще.

– Ну, дай хотя бы горсточку твоего неумного ума.

– И этого дать нельзя. Тут нужен свой, чтоб увидеть главное. Отделить его от пустяков.

– Но отчего же он меня не понимает? Перестал... Он – мужчина или лишь одно название? Почему Ершов понимал меня? Понимал, предупреждал...

Но Анна Андреевна, уже смеясь над нею добро, чуть откинув голову:

– До чего ж мы все похожи друг на друга. Мы – женщины. Все девки какие-то ненормальные незамужние. Дочь моей одной знакомой, заявляла ей: «Мужчин я ненавижу и не выйду никогда за них, буду одинокой жить». Многие, невестясь, рассуждают так. И вот Вера Павловна сказала дочери: «Нет уж, милая моя, удачно, не удачно ли, но ты должна будешь пройти через замужество, – не ради счастья одного, а именно через замужество, – чтобы быть нормальной». Не горюй! Тебе твой малыш радость принесет. Очень редкий человек душевно понимает, кто ты. Нужно показать и проявить еще себя. – И тут заметила Антона: – А ты что слушаешь нашу женскую болтовню? Иди, иди себе, сынок, дай-ка нам поговорить. И так намучался, небось...

Она вздохнула удрученно.

Антон послушался ее – покинул сарай в сложных размышлениях. Странные казались ему все женщины или некоторые из них. Разве ж так не видно, кто из окружающих мужчин есть кто на самом деле? Однако почему-то, увидав опять Раю печальной и мятущейся, он мысленно совсем не осуждал ее, лишь жалел за что-то. Ему, право, было очень жалко всех страдающих невест за что людей. И хотелось им помочь хоть чем-нибудь. В меру своих сил, способностей.

В раздумье он стоял над сонливой речкой. Над ним синел небосвод, блистал точечками звезд.

Вот в нем косо прочертилась световая вспышка – от «падающей» звезды. И еще. И в той выси заскользил звук моторов пролетающих бомбардировщиков – и лишь виднелись слабые тени. Огней не было видно. Звук их моторов скользил то явственней, то пропадая, какими-то разливами, словно его сбивал там, в вышине, упругий ветер, не стихавший никогда.

Антон был уверен в том, что за его спиной продолжали разговор Анна Андреевна и Рая и Анна Андреевна вновь вспоминала вслух тот момент, когда капитан Ершов встретился ей на мостике.

«А вдруг сейчас здесь мне тоже встретится он – живой и невредимый?» – подумалось отчего-то Антону.

И он поспешил к мосткам.

XIV

И вот вновь, только что переехав на новое место, напоролись на мину.

– Да, нам, хлопцы, крепко повезло, или мы – трошки везучие; смерть нас маленько пуганула, чтобы мы не забывались, верно. На третий-то год войны, – говорил с веселостью окружившим его товарищам, как о досадном пустяке, габаритный и смешливый солдат – шофер Илья Маслов, сидя на бревне сентябрьским вечером в лесной смоленской деревне. Илья Маслов, уже ставший новым другом Антона, был тем удалцом, кто раз в сорок первом году, спасаясь от фрицев, удирал на полуторке в левобережном приднепровье и кто затем колесил на ней в огненном аду Сталинграда и оттуда теперь доколесил до смоленщины – обратной военной дорогой. – В общем, называется, поживились, – говорил он, – трофейными запасными частями к своим поизношенным подругам... Каково! Ведь еще день назад, как перебрались сюда, засекали там, на дороге, свалку немецких грузовых. Но вот поплатились по-глупому: сами потеряли машинку! На фрицевской mine. Да Яшку шибко трянуло. Напрочь ничего не слышит.

– Что контузило его настолько? – спросил сержант Коржев.

– А, до свадьбы заживет! – заверил Маслов.

– Но как же она зацепила вас?

– Верней, мы сами ее зацепили. Хотя ехали вслед за Шиловым. Колесо в колесо.

– Странно: и твоя тачка попалась?!

– Ну, просто его санитарная легче моей. Значит, дорога идет ненакатанная, довольно сносно колеи видны. Уже километра три отъехали отсюда, когда – на тебе! – ни с того ни с сего моя коляска зачихала: мотор забарахлил. Ну, стой! – остановил ее. Ребята – их четверо было в кузове, – прыгнули на землю. Да пешком пошли вперед. До трофеев-то дойти пустяк осталось. А Яша был со мной в кабине с самого начала. Он что-то клевал носом. Он помог мне снова завести мотор; завели его, когда ребята уже отделились достаточно. Дорога вроде ровная была. И очень осторожно – след в след, оставленный Шиловской машиной, – повел я опять полуторку. Только вдруг все закачалось почему-то впереди. Не почувствовал и не увидел я земли и леса. Даже вроде память поотшибло на какое-то мгновение, помнил лишь, что был почему-то в воздухе, меня крутануло здорово и куда-то бросило. Какая-то карусель. За руль ухватился крепче. Толку что!

Я уже под перевернутой кабиной пришел в себя. Собственно, ее, кабины-то, уже не было в помине: верх сорвало начисто – лишь ее костяк уперся в землю; руль погнулся сильно, и меня заклинило. Ну, вы, увидите, когда костяк сюда притащим. И когда я, ухватившись, наконец, за что-то, выглянул из-под днища, – сверху еще падало на меня все, что взметнуло взрывом. Теперь только догадался я об этом. Поскорей опять в свое убежище сховался, в плечи голову втянул. Хорошо отсюда видел: на суку сосны повис и качался бензиновый бак, который я всегда держал за своим сиденьем; там же опустилась и моя пилотка, сорванная с моей головы... Радуюсь, однако, тому, что сам-то уцелел, вмиг затем похолодел: «А где же мой напарник Яша»? Не видать его. Снова вылез, распрямился. Огляделся повнимательней: соображение отбило. Вижу: он на пригорочке валяется, раскинув руки. Этак метрах в десяти, если не больше. Ужаснулся я, ноги подкосились; думаю: «Ну, все! Конеч!» Ведь как-никак противотанковой нас хватануло.

Все расколошматило. Нет нигде живого места. Представляете, аж покрышки закинуло на ту сосну – содрало и закинуло, висят на ней...

Подбежал я к Яшке, давай тормошить его – он не шевелится. А потом ребята подросли, взяли его. Понесли... Да вот и Климов с нами был – может засвидетельствовать, – сказал Маслов в заключение, едва тот подошел к сидящим.

Также военный шофер Климов, широкоплечий и небрежно-степенный, даже несколько важный – вероятно потому, что был все время командирским шофером и что поэтому как бы чувствовал себя несколько выше своих собратьев по профессии, – подсев тоже, воспользовался паузой и досказал:

– А мы, вылезли из кузова, шли себе, дольные, по мягкой травке. Калякали обо всем на природе. Когда толкнул нас в спину недалний взрыв. Что такое? Оглянулись: дым вскинулся там, где только что ехала наша полуторка, и она уже вверх тормашками торчит. Стало быть, была судьба, что у ней заблаговременно мотор заглох. Словно мы предчувствовали что... Пovýлезли... Спаслись...

На другой день было почти веселое представление: обшарпанный грузовичок тащил за собой на тропе то, что осталось после минного взрыва от Масловской полуторки, – фактически одну только раму, поставленную на колеса. И на этой-то раме, за погнутым рулем, с улыбкой восседал тощий, мускулистый Маслов и показывал всем зубы, отвечая на ходу на всевозможные шутки встречающих. По обыкновению своему он держался превосходно, весело, словно на каком-нибудь спектакле.

Но его товарищ по несчастью, Гончаренко, поправлялся медленно. Видимо, морально чувствовал себя неважно. Он встал с постели лишь на третий день, к концу его, и приковылял на кухню, чтобы поесть, – такой маленький, обросший, пожелтевший и болезненно-подавленный. Последнее, возможно, и в немалой степени было связано с его временной потерей слуха: он пока почти не слышал ничего, что говорили ему сослуживцы. Приходилось либо кричать ему сильнее то, что нужно, или как-то показывать на пальцах. И поэтому он больше хмурился и сердился. Антон стал замечать: он даже сторонился всех, чаще стал курить. И едва появлялся на виду у него, Антон стремился подбодрить его и ходил за ним, как нянечка. Так сильней привязывался сам к нему. По-детски, наверно.

Как-то они сидели вдвоем на солнечной стороне избы – снаружи ее. Было очень много мух. Они жужжали везде и кусались зло. Не хотели умирать. Яша курил, едкий табачный дым лез Антону прямо в глаза, отчего они слезились. Антон смотрел на него, несчастного, и оттого ему становилось страшно и смешно. И нет-нет и он улыбался через силу, морщась. Палкой пошевеливал желтую, опавшую листву. Той, с которой он еще ковылял, приволакивая ногу.

– Ты не тужи, – обнадежил он Антона. – Как очухаюсь, опять займемся с тобой шоферской практикой. Идет?.. Если хочешь...

– Я хотел бы, что ж... – сказал Антон.

Антон, следует сказать, восхищали ершистые и терто-обязательные трудяги-шоферы, которых он узнал получше; они заметно выделялись на фоне других своей естественной стойкостью и значимостью на войне, своим умением делать нужное дело для всех людей без хвастовства и без всяких ненужных сетований. И ему хотелось в чем-то походить на них. Поэтому, наверное, при появившейся в голове мысли о выборе своей будущей профессии он (еще не думавший нисколько о художничестве) согласился для начала пройти некие шоферские курсы. У того же Гончаренко.

Тот и другие водители веско говорили ему не раз: мол, пользуйся пока моментом, пока служишь, – изучай автовождение, мы советуем. Это тебе пригодится завсегда, поверь, – в жизни будет верный кусок хлеба...

И вот Гончаренко как раз накануне случившегося взрыва мины закатил после рейса свой замызганный грузовик под тополь и предложил с вызовом:

– Ну, так если ты готов, бери ведро, зачерпни воды из ручья и тащи сюда. Начнем прежде с мытья моей посуды... старушки...

Яша и Антон усиленно мыли-отмывали кабину, радиатор, крылья, кузов и колеса полоторки, облепленные великой грязью. А на лицах проходивших мимо сослуживцев сквозило явное недоумение. Доброжелатели вроде бы тут же осуждали или урезонивали ретивого Яшу: Ты, мастак, аль эксплуатируешь мальчика? Он ведь, знать, и на своей работе наломался.

– Да, негоже ты выдумал, умник!

Видно, не того они хотели бы для Антона, было ясно.

И он сам уже испытывал неловкость от того разлада, какой вызвало его согласие на некое ученичество профессии, разлада даже у других шоферов – его друзей: выходило так, что не все из них были дружны с Яшей. Антону же не хотелось ни с кем обострять из-за этого уже установившиеся и понятные ему самому отношения со всеми.

И был очередной прифронтной переезд, условия все ухудшались, лили осенние дожди, были повальная распутица и месиво на дорогах. На них автомашины завязали по самую ось – и тогда приходилось выволакивать их тракторами... До какого же учения было тут кому?

А может быть, и Антону самому просто не хватало в этом деле настырности и нужного желания.

XV

По-осеннему туманилось и стыло все вокруг среди глохших смоленских полей, взгорков, огородов с паутинкой серой, скелетов сараев, разбросанных кое-где. Автобус с военными катился по проселочной петлявшей дороге точно наощупь, спотыкаясь. И вновь остановился почему-то. Сослуживцы, выйдя из салона, стали ждать чего-то известно-неизвестного, как бывает на войне. Красочно в лиловой пелене кучились деревья – их шапки, кусты и высокие растения с рыжей подпалиной и жгуче краснели, клонясь, гроздь рябины, бузины; свежий морозец и иней пробелили траву, дорожки, колья, изгороди, крыши.

Не видно было жителей села – понятно. Лишь маячили тут, там на привале бойцы, которые еще пойдут в бой, – как знак сурового военного времени.

Но вот автобус ушел. Антон и другие оставшиеся военные пока слонялись праздну, без дела. И даже грелись почти безмолвно какое-то время в какой-то рабочей конторе. Потом, наконец, все вспомнили: о, пора бы, братцы, и обедом заняться! Время уж!

– Отчего... Давайте! – было общее согласие.

Да тут не поверилось глазам своим: на дороге возник – спешил сюда увалисто-сутуловато – широкоплечий солдат Стасюк, в вытертой фуфайке, в пилотке, в неизменных обмотках и с тощим вещмешком за плечами. Какой-то спокойно-капитальный и радостный, с изменившимся красноватым лицом в морщинках, он еще издали светился улыбкой. Все заговорили приветливо, обрадовавшись ему:

– Откуда?

– Оттуда, из окопов, – махнул он, подходя к сослуживцам, рукой в западном направлении. – И после лечения в госпитале.

– Что, был ранен?

– Немножко зацепило в атаке.

Антон и его друзья очень скоро, присев кружком – на ящики и бревно около костра, поглощали из одного котелка желтоватую, крутую, но действительно вкуснейшую кашу. Поблизости дымились и другие костры, и возле них толпились бойцы. Будто и не было на свете войны – просто солдаты попали в неожиданный, казалось, мир и была у них между собой случайная встреча на родной земле. Поэтому все и разговаривали как-то вполголоса, как бы пони-

мая друг друга и так – не разговаривая вовсе. И одинокие серые вороны, по-хозяйски каркая, спрашивали: и когда же это все кончится? С явной неохотой перелетали с места на место.

– Глянь-ка, – тихонько толкнул Антона локтем в бок Стасюк и повел глазами в бок. – Понимаешь что-нибудь?

– Как не понять: она ищет кого-то из своих, – сказал Антон.

Вблизи-то солдатиков тенью ходила-перемещалась одна крестьянка в зипуне и платке; она пытливо-беспокойно вглядывалась в лица бесприютных молоденьких и постарше мужичков, умевших, когда нужно (и всегда), мириться с неудобствами и невзгодами, что выпадали на долю их, всего народа.

– Сколько ж наших жен и матерей разыскивают так родных! – И Юхниченко по привычке шумно вздохнул и выдохнул воздух.

Солнце уже угадывалось, проявлялось над головой; оно начинало чуть-чуть прогревать и разгонять туманную дымку, но еще слабо. Точно эта дымка бережно охраняла людской покой. Именно здесь. Временно.

Один раз Антон сам, возвращаясь в приречной долине, уже забеленной снежком, вдруг привидел будто бы брата Валеру, угнанного немцами из дома. Привидел неожиданно для самого себя.

Они, управленцы, по обыкновению работали и ночевали в больших армейских палатках, обложенных понизу вокруг для утепления сено-соломенным валком. В палатках протапливались железные печки-буржуйки, но воздух выстужался скоро; ночной холод пронимал всех ночлежников, как ни кутались они во все подходящее из одежды, кроме одеял; потому они бесконечно ворочались, кашляя и скрипя пружинами раскладушек.

И здесь тоже не было никакого земляного укрытия для спасения на случай налетов немецких бомбардировщиков. Сюда же частенько залетали и «Мессеры» попарно – поливали все свинцом. Разбойничали еще... И тогда Антон, тоже хоронясь от шальных пуль, как все, забежал за толстенный ствол раскидистого дуба-защитника.

Была пронзительная пора с тонкой красотой окрест. В долине выше темнели срубы, а в низине, в пожухлых зарослях – главным образом ив – проблескивала, петляя, речушка и южнее ее черным шлейфом пропечаталась раскисшая дорога, и по ней денно и ночью ползливо-волоклись, что муравьи, наши солдатики с боевой техникой. Катили, наплывали. А над сей местностью низко стлался многополосный войлок облаков, подтушевывая всю видимость.

И легок был мальчишеский шаг Антона, мысли его спокойны, ясны.

Только будто что внезапно толкнуло его в грудь, когда он, минуя ближайший кружок очень молодых бойцов, расположившихся, видно, на привал у костра (прибыло, наверное, новое пополнение), невзначай скользнул взглядом по голому затылку одного неказистого на вид бойца-паренька, сидевшего на корточках спиной к нему, проходившему мимо. И он аж приостановился, почти остолбенев: «Да неужто Валера, старшенький брат мой?! Не может быть!..» Да, порой в нашей психике происходят какие-то совсем необъяснимые вещи – казалось бы, ни с того, ни с сего; поди, разберись моментально в чем-то противоречивом...

Антон попытался получше взглянуть в лицо солдата – и уж готов был порывисто кинуться к тому... Ведь они не виделись с февраля этого года. Как, откуда ж тот мог сейчас оказаться рядом с ним? И что: подсознательно вмешалось в его разум желание видеть брата живым, невредимым да смешалось с преждевременной радостью за него и щемящей жалостью к нему, незащищенному? Однако, пока он накоротке решал, обознался или нет, словом, мешкал, – солдатик встал и, не оглянувшись, так что его не видно было худое лицо паренька, пошагал прочь куда-то туда, откуда Антон шел. Пошагал уверенно – на порывистом колючем ветру, от которого отворачивался, лишь располыхивались полы серой его шинели. И потому оставил Антона в совершенном недоумении. Он не смог разглядеть наружность бойца, хотя машинально и поторопился было опять за ним, как привязанный, – прошел некоторое рассто-

яние (а дальше уж преследовать и обгонять его не мог). И очень сожалел потом об этом, хотя и не был уверен в том, что не обознался случайно. Ведь в военной форме все пареньки похожи друг на друга.

Вот терзающие дни!

А спустя неделю его очень обрадовало присланное письмо матери: она сообщала ему, что Валерий вернулся домой; они, лагерники, убив немецкую охрану, вырвались из лагеря под селом Красное. Это произошло именно здесь, где Антон и находился теперь. Поразительно, что вовсе не случайно вышло совпадение с тем, что ему привиделось. Стало быть, он только чуть-чуть разминулся где-то с братом. Но отчего же все-таки неожиданно возникло у него такое предчувствие? Само сердце все почувствовало так?

И запомнилось Антону, кроме всего, в эту пору раскисшие от дождей и размешанные грунтовые дороги, непролазная грязь, что геройски преодолевали, главное, водители в частых поездках. Он восхищался ими.

Да, осенние смоленские дороги были совсем непредсказуемы в неглубоком тылу. На них терялось пространственное ощущение и легкость понимания самого себя, невзрослого, – отчего потом каешься в душе и ругаешь себя по-тихому за непростительную легкомысленность в поведении.

Итак, они, служивые, на трех полуторках полдня уже ползли, а точнее плыли – буквально по самые кузова – по желтой липкой глинистой разливной жиже, одолев от силы километров десять с небольшим. Они простаивали еще из-за бесчисленных заторов, когда благополучно и объехать-то завязший грузовик нельзя: настолько все вокруг размешано, хлипко, неустойчиво, что можно в ходе объездного маневра насовсем застрять – и не заметить как.

На Антоне были еще легкие брезентовые сапоги (других покамест не было у него). Так что с каждой минутой ноги у него коченели все сильнее. Да и самого его, сидевшего с сослуживцами на верху кузова, на пожитках хозяйственных, пробирал осенний неутихающий ветер с бесконечно сеявшимся дождем. И нарочно бодлившийся – наперекор погоде – сержант Пехлер, в фуражке, высовываясь из кабины справа, опять настойчиво допытывался у него:

– Ну, совсем закоченел, небось? Вижу, вижу: посинелый...

Антон, подрагивая мелко, почти пролепетал уже:

– Отчасти... Ноги... Но я выдержу еще...

– Давай, ступай вон к Маслову, в тепло, – уверенно настаивал Пехлер. Он ведь предлагал уже.

Сзади приблизилась крытая санитарная полуторка – с удобным кузовочком.

Антону сильно не хотелось на полпути расставаться со своими дорожными попутчиками и попасть к другим, и в то же время было приятно, радостно сознавать то, что кругом его находились такие отзывчивые люди, готовые всегда помочь.

– А как? Можно теперь перейти? – И Антон, неохотно сдавшись, беспомощно глянул вниз, на дорожное месиво. Пройти даже и к приблизившейся автомашине невозможно: вокруг нее – желтая река шире самой дороги, а его грузовик, на котором сидел, всего лишь островок здесь. Как же пробраться?

Но пока он ломал голову над этим, Пехлер разрешил все довольно быстро:

– О! Маслов и перенесет тебя туда, пока стоим. – Он – в сапогах-непромокайках. – и тут же громко попросил шофера санитарной автомашины: – Эй, Маслов, друг! Возьми Антона и перенеси к себе. Замерз совсем.

И тот, долговязый, приветливо-улыбчивый, – не успел Антон запротестовать и сказать, что как-нибудь сам спуститься и переберется, – запросто-послушно, с большим удовольствием, точно только и ждал этой команды, вылезши из кабины, вперевалку подошел к кузову полуторки и подставил ему длинные сильные руки.

– Ну, хлопец, Антошка, валяй сюда. Я мигом тебя... отбуксирую...

Антон подчинился. Тут же Маслов, хлюпая сапогами, перенес его без особенных усилий и всунул в спасительное, вызывавшее зависть, тепло кузовка. Здесь его приняла так же радушно маленькая молодая черненькая старший лейтенант Полявская, жена чинного начальника одного из отделов подполковника Дыхне, ехавшего сейчас в кабине, рядом с Масловым. Эта очень милая женщина, мягкая, ласковая, укутала одеялом застуженные ноги Антона (по ее совету он снял сапоги и прилег на вещи в тюках) и находилась при нем, ровно при больном, нуждавшемся в уходе медицинском; она, что терпеливая сиделка на часах, сидела подле него – берегла его полусон; он же чувствовал, что начинал дремать, проваливаясь куда-то помимо своего желания (что с ним бывало крайне редко), и пытался как-то отогнать от себя подступившую сонливость, которая позорила его, тогда как машина рывками все тащила по жидкому бездорожью. А он ведь был для Полявской ровным счетом никто. И поэтому испытывал в душе чувство, похожее на раскаяние в том, что малость сплеховал (как перед ней, так и перед всеми, кто возился с ним и кому он непредвиденно доставлял такие хлопоты), хотя, если признаться честно, и желанна – приятна ему была ее женская ласка. Но какое-то физическое бессилие у него, как он ощущал, продолжалось против его воли. Будто простудился он. Все могло быть. Но что же, что же делать?

Между тем случилось то, что обычно уравновешенный подполковник Дыхне заревновал к нему, как он невольно почувствовал, свое милейшее существо. Уже дважды при остановках открывалась дверца кузовка, впуская внутрь ветреную непогоду, и подполковник ревниво заглядывал сюда. И на правах-то обеспокоенного мужа негромко выговаривал столь непослушную жену – просил ее о том, чтобы она прежде всего сама отдохнула, не маялась. Тяжелый переезд.

– Зачем же тебе столько возиться с мальчишкой? – слышно шепнул он ей, видя его в забыты. Но она мягко успокоила его. И отослала снова.

Антон не смел и видом своим показать ей, что догадывался о чем-то подобном, – было бы тогда все вовсе скверно, глупо. Только уж наконец как-то собрался с духом, может, отогревшийся вполне, – совладав с собой, перестал дремать, докучать славной попутчице.

Как раз кстати завернули – с тем, чтобы отдохнуть и перекусить – в какое-то село, убавленное войной тоже зримо. С потемнелыми распотрошенными постройками. О, сколько ж их, таких печальных сел уже встречалось на пути! Не упомнить...

Опять в привычно прежнем окружении сослуживцев, вместе с деловитым Пехлером и разговорчиво-веселым Масловым, Антон окончательно отогревался уже в избе, сидя на толстой пристенной скамье. Здесь, несмотря на светлый еще день, весело трещала огнем топившаяся лежанка, пахло чем-то съестным и шел степенный разговор военных мужчин с немолодым хозяином в поддевке – со впавшими глазами, он лишь косился на Антона пытливо-печально, но ничего про него не спрашивал ни у кого. Что-то и без слов ему было понятно. Об этом можно было догадаться. И, глядя в плакучие окна, на тоскливо шевелившийся под ветром и косо хлеставшими дождинками пожухлый бурьян у серой изгороди и полуоголенные ветки деревьев над деревенскими крышами, и слыша серьезный мужской разговор о том о сем, Антон с острой болью вдруг вспомнил свой прежний дом, мать, отца, такие же почти скамейки с сидящими нарядными по праздникам бабами, тетками и дядями, и какую-то безмятежность, чистоту, уют деревенской избы – все, безвозвратно ушедшее от них, погубленное завихрившимся над Европой смерчем.

Прошло после этого более полутора лет. В апреле 1945-го года они находились уже на Одере, когда старший лейтенант Полявская, отболев тифом, вновь вернулась из госпиталя в Управление. Она сильно изменившаяся в чем-то – вроде б более юная, чем прежде, и прелестно утонченная, с будто поширевшими глазами и в цветастом платочке, вошла в комнату к малень-

кому подвижному солдату-художнику Тамонову во время посещения его Антоном: по договоренности с ней тот приступал к карандашному наброску с нее. Она сама об этом попросила.

Полявская поздоровалась тихо-торжественно и, приблизившись к Антону, подала ему нежную, слабую руку. «Похудела так? – подумал он. – Что же изменилось в ней?.. Да, только на портрет ее сейчас... Вся светится...» Ей словно мигом передалось волнение Антона, и она, казалось, этим не меньше его была смущена и также растрогана сочувственно-любовным вниманием к ней всех. И затем, усевшись на стул, чтобы позировать настоящему художнику, бывшему преподавателю – профессору, она даже пригрозила Антону дрожащим пальчиком, веля ему замереть и, может быть, даже не глядеть сейчас на нее, чтобы не мешать. И вот ловким движением сняла с головы платок.

Боже! Да у нее была коротенькая стрижка – «под нулевку», и новый черный бархат густых волос еще только подрастал бобриком; это делало ее лицо совершенно мальчишеским почти, с тонкими линиями. Тотчас же Антону нежно вспомнились ее мягкие руки, некогда касавшиеся его, продрогшего, ее терпение и святость беспокойства о нем, узанные им так счастливо на разбрыкшей осенней дороге под Смоленском.

Но, может быть, явственно-отчетливей теперь он находил Полявскую более нежно-хрупкой, прелестной и потому, что все-таки немножко повзрослел за минувшее время? Не дано ему знать...

О, сколько же сил верной женской любви отдавали они, прекрасные самоизбранницы, везде бойцам, мужьям, детям и таким чужим мальчишкам, как он, в дни тягот войны! Низкий им поклон!

XVI

Еще многожды этой осенью они перебазировались в прифронтовой полосе.

Зима же 1943-1944 годов для всех армейцев, служивших в Управлении госпиталей, показалась долгой вследствие того, что в направлении белорусского города Чаусы велись долгомесячные бои и не было никакого продвижения наших войск вперед на Запад. Оно застыло. Немцы, умело укрепившись, огрызались; они даже бомбили наши тыловые части и выбрасывали малые десанты да раскидывали по наезженным дорогам новые кассетные мины-ловушки, которые при падении зарывались в снег и взрывались под колесами.

Весь состав управленцев привычно квартировал в просторном лесном селе, затерянном среди снегов, и нормально питался, в диковинку разучивал текст первого советского гимна и даже регулярно парился в местных сельских банях, топившихся по-черному. Они с автоматами ходили и на прочесывание леса – в поисках диверсантов. Однако наблюдалось у служивых людей и какое-то бездействие в чем-то нужном, повседневном. Расхолаженность. Так, тут и твердохарактерный сержант-повар Петров не обеспокоился никак из-за отсутствия при кухне хороших дров. И едва Антон напомнил ему об этом, он вскинулся на него, будто кровно разобиденный его неуместным напоминанием:

– Ты, Антон, сам видишь не хуже меня, что к чему, – не десятилетний, чай; тебя это беспокоит, так и действуй самостоятельно... Ты сходи к подполковнику Дыхне, если больше никто сейчас у нас не может скомандовать, коли он замещает улетевшего куда-то командира части, – и скажи, потребуй! Тебе-то, мальчишке, – что!.. Пошел – сказал. Пускай разберется!..

– Да я и сам бы съездил в лес за дровами с кем-нибудь... – сказал Кашин. Но сержант одернул его с неудовольствием:

– Ну, вот еще! Пусть нам привезут-обеспечат... Еще будем сами пузыниться... корячиться...

– Но я ведь и так дрова накалываю и таскаю...

Он недовольно зыкнул на Антона глазами, и Антон поскорее ушел.

Зимний день был бело-лучистый, тихий.

Кашин, смущенный, что некстати так заявился к подполковнику Дыхне, квартировавшему в избе вместе с маленькой женственно-мягкой черноглазой женой, старшим лейтенантом медицинской службы Полявской, – они завтракали, – извинился и объяснил цель визита к ним.

– Майор Рисс ответственен за хозяйство, – не замедлил подполковник с решением и, точно он сам только и думал о том, но некого, кроме Антона, послать с приказом, сказал ему серьезно-строго, как он делал все: – Ступай сейчас же – передай приказание майору. Пускай привоз обеспечит.

«Вот еще наказание!» Антон уже знал некоторые странные порядки в субординациях, царивших в Управлении. Но с радостью оттого, что настолько легко могла сейчас разрешиться проблема дров, он направился в дальнюю избу, занесенную сугробами. Хотя и тот и другой возглавляли равные отделы, но старший по званию – подполковник Дыхне все-таки замещал теперь самого командира Ратницкого. Да и сам Антон не ослышался – он велел: «Передай приказание...» «Ну, не передашь его, как велено, – и не будет опять дело выполнено», – думал Антон, пока мерил ватные сугробы, – село-то в двадцать дворов, а раскинулось на целых полтора километра.

Антон с мороза, нашарив дверную ручку, с усилием открыл тугую дверь и попал в третий штабной отдел – прямо на колючие с желтоватым отсветом глаза круглолицего и круглотелого майора Рисса. Был он рассеян, думал о чем-то, изморщив лоб и, привстав из-за стола, в упор хмуро спросил у него:

– Ну? Зачем пожаловал?

Антон, простак: тут и выложил ему с ходу, в тон его обычных по отношению к нему шуток и подтруниваний, что он должен был, по его разумению, понять:

– Подполковник Дыхне приказал... – считая, это произведет магическое действие, но в то же время замечая по обратившимся вдруг на него испуганным лицам штабников, что сейчас произойдет что-то непоправимое – распорядиться насчет привоза дров...

– Что?.. – переспросил седовласый майор, зайдясь в гнев.

И Антон, бледнея, повторил приказ, уже не в силах был остановиться.

– Что?! – багровея, вскричал взбешенный майор и отшвырнул прочь из-под ног табуретку. – Мальчишка! Не знаешь, что...

Поток обидных слов разгневанного начальника обрушился на голову Антона, и он больше ничего не слыша, лишь стоял в оцепенении. Он ничего не понимал – был не в состоянии понять; ему было досадно и обидно до слез оттого, что он чем-то вызвал столь великое оскорбление человека, которого очень уважал. Ужасные были его слова. Но, видно, справедливые в своей основе. Хорош себе! И от невозможности тут же исправить все, а также оттого, что он чувствовал, какими жалеющими глазами в эту минуту глядели на него притихшие сослуживцы, Антон нагнул голову, повернулся и выскочил вон из избы. Только на морозном воздухе опомнился мало-помалу, побрел себе. В заботе своей переусердствовал, должно.

– Ну, как, добился ты чего-нибудь? – наигранно-браво справился у него сержант Петров, потирая в нетерпении крепкие волосатые руки.

– Да, – ответил Антон угрюмо и немногословно, – сказали, что будут дрова. – В этом он был теперь почему-то уверен.

Этим же днем сущее позорище устроили ему двое местных балбесничавших парней.

Он, навестив в доме заболевшую простудой Анну Андреевну, спеша, нес обыневшей деревенской улицей кастрюльку с молоком (где-то раздобытом) – для того, что его вскипятить, когда посреди дороги два подростка преградили ему путь и стали толкать его в грудь – осаживать назад – ни с того, ни с сего. Они, одетые в тулупчики и в валенках, были рослей и здоровей его, притом с совершенно свободными руками, в отличие от него; они возвращались издали со школьных занятий с болтавшимися на ремнях с плеч портфелями.

– Пойдите, отстаньте, ребята! – Антон был обескуражен наглостью такой. – Пустите!.. Я лекарства для больной несу... разолью...

Но они лишь лыбились и гоготали от удовольствия дозволенной себе шалости, граничившей с издевательством, с провокацией.

– Перестаньте же! – просил Антон. – Вы видите: у меня руки заняты... Говорю по-хорошему вам...

Антон никогда не понимал дурашливости тех мальчишек, кто задира товарищей, избивал младших, нападал вдвоем, втроем на одного, – дурашливость и насилие были в его глазах переходом грани нормального, естественного поведения. Он принимал только открытые, ровные товарищеские отношения – что говорится, без подвохов, начистоту.

Ну, и наивен же был тут он, увещатель добрый!

Парни не слышали его никак. Они продолжали куражиться над ним, все пихали его назад, заставляя только пятиться и не давая ему даже нагнуться для того, чтобы хотя бы поставить кастрюльку на снег и так освободить свои руки. А вокруг было безлюдно, тихо. Пышный снег покрывал все, слепил белизной своей; редкие сероватые избы, бани тонули под ним, точно в белых шапках и воротниках.

– Да я вижу: вы же – детки полицейские! Бестолочь!..

Но они, не внимая ему, отступились от него лишь после того как втолкнули его в сарай. И был их удовлетворенный смешок в ответ:

– Ха-ха-ха! – оттого, что они позабавились так. В полной безопасности для себя.

И как же Антон, досадуя, изумился вдруг, когда заглянул вперед вновь с дороги и хорошенько разглядел в окне крайней избы, в которой помещалась армейская кухня, маячившее лицо сержанта Петрова: он спокойно, значит, наблюдал за неравной забавой парней! И даже не вышел на крыльцо, не сделал шаг, не крикнул им, чтобы усмирить их! Вот стыд и позор! И недоумение...

– Что же ты сдачи им не дал? – Сытый, благополучный крепыш Петров покраснел, покашлял. – Я бы... Сумел...

Антон смолчал. «Ничего себе позиция! Он, как старший здесь, выставил меня в хлопотах перед начальством о дровах, подвел под удар, – и был таков. Лишь красуется собой, своими мышцами, самодовольствуется... И не помог мне хотя бы окриком против парней. Дескать, выпутывайся, малец, сам: ты мужчина или нет? Ничего себе сильная мужская позиция!»

Так сразу качнулось у Антона доверие к нему и подверглось сомнению.

А вечером Антона вызвал к себе новый замполит части майор Голубцов, чему он сильно удивился. Было подумал, что, видно, сейчас крепко влетит ему за мальчишество, непонимание чего-то важного. Однако корректный суховатый замполит, прежде еще не беседовавший с ним, усадив его перед собой в кабинете отсутствовавшего подполковника Ратницкого, начал уважительно расспрашивать о том, доволен ли он службой и отношением к себе сослуживцев, часто ли он пишет письма домой.

Затем майор, сухо откашлявшись, стал осторожно выяснять, чем возмутился майор Рисс – не обидел ли его? Неизвестно, каким образом это происшествие дошло до Голубцова, кто успел доложить ему об этом – явно из-за проявления сочувствия к Антону; но все чувства в нем тотчас как-то натянулись, враз воспротивясь такому выяснению, Антон даже задосадовал. Как же, он ясно понимал, что во власти замполита было не только выяснить подлинную истину в этом случае, а и сделать ее последствием каких-то незаслуженных мер по отношению к достойному командиру. Да, был страх у него из-за того, что вследствие чего-то сказанного им, может пострадать, или будет обижена как-то совершенно неповинная ни в чем и ни перед кем личность, а не просто взрослый человек. И поэтому он уперся и только твердил непробиваемо, взволнованно:

– Честно Вам говорю, товарищ майор: я сам виноват! Я понял! Может быть, забылся малость... Я честно признаюсь...

Антон не то, что запыртался отчаянно, и не то, что страшился за себя; он говорил правду сущую, единственно верную для себя, вкладывая в свои слова искренность и чистосердечность, чего Голубцов, быть может, и не ждал. Он, ровный, степенный по характеру, держа перед собой тонкие руки, проникающе заглядывал в глаза Кашину...

Что же он мог увидеть в них?

И теперь Антону было жаль напрасных усилий замполита, искавшего внеслужебное отклонение в чем-то?

Он давно и хорошо знал майора Рисса, чувствовал его характер: накоротке познакомился с ним с самого первого дня пребывания Полевого Управления под Ржевом; они обычно подтрунивали друг над другом вопреки возрасту своему, но симпатизируя друг другу. Майор Рисс, известно, был живым человеком, хоть и в возрасте, пусть и импульсивным, вспыльчивым, но нисколько ни мелочным, ни злобным. Просто Антон малость забылся перед ним в неподходящую для этого минуту, и тот накричал на него, сорвавшись, не поняв неожиданно его словесной игры. Вот что. И злоключение свершилось. До обидности. По стечению каких-то обстоятельств.

Антон уходил от Голубцова довольный собой, тем, что повел себя по-мужски, и удовлетворенный поэтому тем, как сладился с ним весь щекотливый разговор – без какого-либо урона для кого-нибудь. Что есть самое главное. А не что-то другое.

XVII

Как бы там ни было, все же вышло так, что назавтра поутру жилистый, измятый и угрюмоватый солдат Усов, в потрепанном ватнике в валенках подкатил в розвальнях к тыльной части избы – к выходу. Спросил хмуро-недоверчиво, кто еще пойдет в паре с ним лес валить, – пила-то длинная, двуручная, а деревья валить, известно, не простая ведь забава. Наломаетесь.

– А я, товарищ начальник, поеду с Вами, – обезоружил Антон его.

Есть сорт особых людей – с будто неизменным характером при всех обстоятельствах и мировых событиях, даже удивляющих тем особенно в крутое военное время; причем они так ведут себя или по крайней мере делают такой вид, как будто им ровно в тяжесть любая профессия и даже собственное дело, которое они отлично делают, или набивают зачем-то себе цену, чтобы возвыситься в глазах окружающих. К их числу, по мнению Антона, несомненно принадлежал и Усов, неприветливый, несловоохотливый. Но, может, ему почему-то это только мнилось? Как то знать...

– Я смогу – да, да! – и пилить, и таскать, – сказал Антон. – Не впервой ведь мне. С отцом, бывало, ежился. Возьмете или что?

– Екши, екши, – закивал головой довольно плотный старшина Абдурахманов, жмурясь подслеповато. Никаких забот больше нет у него с подыскиванием напарника... Но кого еще послать подсобником? Да вроде бы и некого: кто в поездке какой, кто болен. Народу-то в части – раз-два, и обчелся.

Кашин сам напросился – к удовлетворению других взрослых. Ему очень хотелось поехать. Да и это же не прочесывание леса от немецких десантников, когда его не взяли дважды, ссылаясь на нехватку оружия для всех желающих...

И основательно-медлительный Усов, глянув на того, на другого свидетеля разговора и не найдя поддержки, словно в нерешительности принял его услуги и велел собраться поскорей.

– Одну минуточку... Погодите... – Антон перво-наперво по ступенькам влетел на кухню и вынес оттуда кусочек хлеба для лошади. – На, поешь!

Она потянулась к нему, захватила губами полоску хлеба, заработала челюстями.

С нескрываемым блаженством Антон сел в дровни на солому, и сани мягко – при легкой пробежке лошади – понесли их по накатанной извилистой дороге.

Под солнцем – оно проблескивало из-за пепельной пелены – мелкие снежки, искрясь, кружили в воздухе; глубокий снег всюду розовел, слепил, на нем нежно голубели тени; кусты, сосны, ели и березы, опущенные в инее, как мраморные, стояли величаво, сказочно.

Хрупкая стена леса почти сразу поглотила их еще больше глухотой, настороженностью, туманностью и нетронутостью. Здесь, сказывали местные, водились даже волки, навевавшиеся по ночам во дворы деревни, хотя во дворах теперь было мало что от живности. Но Антон видел на снегу лишь чьи-то петлявшие следы и стрекочущих сорок, жавшихся поближе к жилью.

Казалось, то же самое уже было и это ты с отцом мчишься, так же мелькают перед тобой лошадиные копыта, выбивают комочки снега, бренчит сбруя, – все связывалось у Антона с воспоминаниями о нем.

Забравшись в лесную глубину – с пестревшим нежным березовым царством – съехали здесь с дороги и развернулись для удобного выезда опять на нее. Хотя рубка была грустной – по-необходимости, но, довольные, свалив несколько стройных, почти без сучьев, белоствольных деревьев и распилив на части для удобства перевозки, а потом, подтаскивая, накладывая и увязывая воз, очень распарились и устали от физической работы на глубоком снегу. Но зато даже угрюмый Усов заулыбался и разговорился с Антоном, которому оттого подумалось теперь, что он совершенно зря придирался в своих чувствах к нему. Был человек как человек. «Может, я еще мало что смыслю в жизни?» – задал он себе вопрос.

На обратном пути в лесу, не имевшем существенных перепадов местности, дровни с березняком катились ровно, и Антон сначала шагал за ними. Только что-то вдруг случилось, и ездовой, сидя на передке, велел живо и Антону тоже сесть на воз. Что он и сделал, не мешкая. Немедленно замелькал кнут, отчего все быстрее и быстрее понеслась вперед лошадь с возом. И, расступаясь, побежали мимо – назад – обснеженные деревья.

Что такое? Зачем? Антон с немалым удивлением взглянул на шального возницу. И тут-то увидел какого-то мужчину, которого они миновали, проскакивали с лету, не останавливаясь, вроде бы не старого еще на вид, но обросшего, воздевшего руки в рукавицах – то ли с просьбой, то ли с мольбой о чем-то. Он кричал что-то им, даже пробежал за дровнями. Однако Усов погнался кобылу с лесом до тех пор, куда растопыренная эта фигура не отстала насовсем и не скрылась затем за поворотом.

– Он еще худо может сделать нам, – пробурчал он после в объяснении такого спурта. – Возьми его на дровни – и сам будешь пропащим. Научен уж горьким опытом...

Ужасно!

Вот повторение худшего, огорчительного для Антона. И снова заскребло на душе у него оттого, что, выходит, они взяли такой грех на себя – и он поучаствовал в том, что не помешал ездovому, – и оттого, может, человеку в беде не помогли...

Правда, уж менее километра отсюда оставалось до опушки, и пешеход шагал и держался вроде бы устойчиво...

Нечто подобное случилось в ноябре сорок первого года: тогда трое братьев, ехали на дровнях в лес за дровами. Двоюродный брат Толя правил Гнедой. И вот из прилеска, что за развилкой, навстречу им вышла, что призрак, серая фигура будто бы красноармейца. Явно изможденная. Она попыталась вроде бы их остановить на всем ходу, жестикулируя, прося. Рядом пробежала сколько-то шагов. Да куда тут! Толя, словно спохватившись, стал нахлестывать кнутом Гнедую; он подгонял ее, не давая братьям опомниться.

Они боролись с ним в санях во время гонки, пытались выхватить возжи у него. Да толку что. Они промчались уже далеко.

– Гад! Какой же гад ты! – Негодовали Антон и Валера.

– Ну, я сдрейфил,.. – говорил Толя после, – с кем такого не бывает. Подсадить его – так он отнимет у нас лошадь или нас убьет... И ведь он не в лес, а к городу шел... Непонятно...

А назавтра братья, как ни страшно им было, снова ехали в санях мимо этой развилки и видели на пригорке лежавший навзничь почернелый труп в красноармейской шинели. Но неизвестно, был ли это тот красноармеец, который пытался их остановить вчера. Они как-то видели, оказавшись случайно в некоей лесной засаде и заслышав шум мотора автомашины, что проезжавшие по большаку немецкие солдаты, заметив вблизи какого-то прохожего, вмиг остановили свою автомашину, вышли из нее с карабинами и стали стрелять в него – живую мишень...

«Что же это – подлость? Свинство? С нашей стороны, – думал теперь Антон. – И прав ли Усов, отвечающий сразу за лошадь и меня, еще неопытного парня. Ведь мы были безоружными, а немцы нередко по ночам выбрасывали сюда десантников...» Однако что-то важное при всем этом все-таки мешало ему в мыслях своих спрятаться за спину старшего.

«Вот в следующий раз я уже ни за что та не поступлю, – решил он. – Буду знать...»

Как-то меркло у него впечатление от такой дивной лесной, хоть и чисто деловой прогулки; у него упало настроение столь, что смотреть в глаза никому не хотелось, словно сам он совершил нечто безобразно постыдное.

В ушах отдавалась-слышалась траурная музыка, производимая оркестром, и прозвучали выстрелы при салютовании: на опушке, под соснами, военные хоронили двух офицеров, подорвавшихся на немецкой касеточной мине – боевой новинке.

Сейчас же с запада и низко залетели досюда, два тонкотелых «Мессера»; они, развернувшись (никем не атакованные и никем не обстрелянные), накинулись со стрельбой на что-то находившееся там, за лесным гребнем, и очень скоро там над ним поднялись султаны жирного дыма.

Антон отчасти был потом удовлетворен в другом. Спустя день он, идя к шоферам с поручением, почему-то, не минуя, зашел в дом, занимаемый командиром части, который, как оказалось, еще не вернулся сюда, куда Антона словно что-то позвало... И он не обманулся в интуиции своей: в прихожей, перед молоденькой блондинкой Женей, секретаршей, сидящей за столом, въедливо торчал, сторожа ее, один из недавних обидчиков Антона.

Тот – в знакомой куртке и шапке – лишь полуобернулся лицом к Антону, услышав его приход и голос, и Антон узнал противную физиономию наглеца, мигом потухшую при столь неожиданной встрече. «И он-то, выходит, уже женихается! – обожгло Антона открытие-догадка к некоему смущению, или замешательству, служивой девушки – женихается этот вымахавший на бульбе под потолок школьничек! Ничего себе! Типчик... Он девушку уже обхаживает петушком, перед ней красуется, а парня незнакомого, оказавшегося перед ним на дороге, ни за что и ни про что берет в штыки... Исподтишка... О, порода скотская!»

– Женя, это, что, твой новый друг? – спросил Антон тотчас же.

– А что? – Она лишь передернула плечами. Недоуменно.

Парень молчал, хмурясь.

– Смешно! Как ты можешь?!

– Да что тебе?

– Он ведь законченный уже паскудник по нутру своему. – И Антон, гневясь, дернул парня за полы куртки. – Что же вы, братцы, вдвоем-то поперли на меня?.. В чем таком я провинился перед вами?

Девушка начала сердиться:

– Ну, и ладно вам!.. Мне работать нужно... Командир сейчас приедет. И вы оба – оба! – Уходите...

– Все Михей затеял, а не я, – уверял ответчик трусоватый: он валил на друга... Но держался и теперь с какой-то наглостью.

– А тебе понравилось? – И Антон опять дернул его.

Они сцепились друг с другом.

У них разгорелась жестокая борьба, не похожая на драку, и была она примерно равной; они крутились в схватке, как волчки, насколько позволяло помещение: валили друг друга с ног, а падая, снова вскакивали и схватывались непримиримо. Антон временами все-таки одолевал соперника, оттого, наверное, что чувствовал правоту свою и так добивался какого-то торжества справедливости, что ли, и что соперник сильный был будто бы обескуражен этим его непреклонным вызовом задиры...

Вокруг них суетилась пухленькая Женя и, пытаясь их разнять или унять, старалась повысить голосок:

– Слышите... Сейчас же прекратите! Вот уже прибудет командир... Ну, кончайте, я прошу!

Она не понимала ничего. И даже закипала от возмущения и девичьего бессилия.

Да Антон, отчасти успокоенный и довольный тем, что хоть так потрафил своему самолюбию, уже кончил волтузиться с обидчиком своим, как раз послышался гул прилетевшего «Кукурузника»: этой зимой на нем обычно летал командир Ратницкий.

После этого Антон уже ни разу не видел того парня возле Жени, и она будто сердилась на него, отчего ему было жаль ее.

А фронтовое противостояние, решавшее судьбы людей, здесь длилось все зимнее время.

И что в чем-то сыграло свою роль, Антон не знал, но полагал, что брать свою вину на себя, – это твое достоинство, что не ущемляет чувства других людей, и это-то, возможно, впоследствии и сопутствовало тому, что майор Рисс взял его в свой отдел и по-прежнему был дружен с ним, а потом и свел с художником Тамоновым. По обычной приязни к нему...

От тебя самого может многое зависеть.

XVIII

Суровел лес – с сосной и елью – вокруг завьюженной деревни, что под Починками. К западу же снежно блистало, пленяя взгляд, поле с чистым строем красноватых метелок – березок; Антон, часто поглядывая сюда, словно бы невольно привечал в них своих еще невзрослых ровесников. Всю-то зиму это бело-сахарно сверкавшее поле завораживало – тогда, когда по нему гуляли белые паруса метелей, застилая на отшибе деревни и редкие серевшие баньки с клубившимся иной раз паром (а парились-то в них местные жители по-настоящему – с березовыми веничками!) и когда золотилась снежная пыль под солнцем, что пробрызгивало лучами весь молодой лесок и желтило, и румянило роскошные снега, и лежало почти нетронутым, неисхоженным никем, только чуть-чуть плавясь и больше блестя тогда, когда уже по-весеннему закапало с крыш и повисли на них сосульки.

Антон, открывая наружную дверь крайней избы, всегда видел этот пейзаж перед собой; но ему виделось в его неяркой простоте красок нечто прелестно естественное, лиричное, единственное в своей красоте, которая его очень трогала и ни за что ему не надоедала день ото дня, сколько он ни любовался ею. Какая-то незащищенность и доверительность этого простора и одновременно несоответствие в нем чему-то сурово военному, что совершалось отныне повсюду, маяли его душу. И было бы ему стыдно признаться кому-нибудь в этой своей привязанности и чувствительности к обыкновенному пейзажу: да не чудачество ли это какое?! Однако и другие, даже вовсе взрослые сослуживцы, примечал он, как-то тоже шурились, что примериваясь к несказанно дивному мирному покою на таком просторном поле.

За многие-многое дни пребывания здесь Антон будто познакомился с ним столь близко, что потом – по отбытию отсюда – аж заскучал по нему, притихшему среди большого леса, где водились даже волки, и еще открывшихся больших родных просторов.

На снежную поляну уже классно садился и взлетал с нее двукрылый тихоход «У-2», снабженный лыжами; на нем летал по служебным делам (фронтовых госпиталей было достаточно) командир Управления – подполковник Ратницкий. Безопасности и надежности ради. И для этого сюда был прикомандирован боевой молодой летчик – грузин, независимо державшийся черняво-броский красавец. Сосланный сюда за некую провинность. Оттого он, видно, и пошаливал виртуозно в воздухе, закладывал вираж, пикировал и проныривал у почти самых верхушек сосен. Он так, словно готовясь к тому, чтобы сманеврировать, учитывал то, что в округе еще вольно рыскали «мессерштиты». Нужно было быть каждую минуту начеку.

Да однажды вышел курьез не по его воле. Сослуживцам довелось наблюдать, как при сильном ветре и метели самолет, в который влез грузноватый Ратницкий, не смог сразу оторваться от земли при тяжести – он взлетел лишь с третьего забега. Над чем все очевидцы этого лишь любовно, незлобливо подтрунивали. Как же: командир при всех подчиненных батькой был.

Боевой же пилот был уверен в том, что скоро защитит свою честь – все равно добьется отмены его отчуждения от своей боевой эскадрильи, от своих боевых товарищей. Он переживал так приключившееся с ним одиночество без них.

Что ж, все армейцы-управленцы переживали тоже – оттого, что под Чаусами фронт, хотя гудел-урчал, не переставая, но никак не продвигался вперед, на запад; немец здесь намертво оборонялся – наши все не могли выкурить его отсюда.

Впрочем было так, что крайнюю избу, ставшей как бы смотровой для Антона Кашина, срубили еще в довоенное время, подвели под крышу – и только; не успели сложить в ней даже печку, уж не говоря о том, что не построили двор для живности, как положено. Так что она пустовала до этого. В ее переду разместились трое медиков – майоров, а в кухне кухарили, готовили завтраки, обеды для личного состава Управления – соседство вынужденное; но так применились к непростой обстановке, к друг другу. Как в тесном кафе. Ели стоя, почти на ходу; брали еду с собой, в котелки.

И этой зимой из-за недопоставок нужных круп постоянно манная каша, либо биточки на завтрак, на ужин так поднадоели в питании.

Между тем местные крестьяне, жившие, что хуторяне, просторно, казалось, не отягощались так теперешней бедой, как те несчастливцы, которых опалила война и которые попали в немецкую оккупацию; тяжелая судьба их явно меньше задела – выходит, она поровну не раскладывалась на всех окрест. В отличие от родных Кашину Ржева и Ромашино, как и других мест, где жители голодали и даже сейчас голодают (он не случайно сетовал в душе на то, что вот здесь, на задворках кухни, выросла целая гора картофельных очисток, а дома этого добра еще не хватает), здешние дома, дворы, даже сараюшки не были порушены, точно определенно стороной отсюда прополыхала война, хотя оккупанты в этом краю и долго гостили. Недоставало только мужчин, мало было живности. Но хозяйство существовало. Хозяйева ели бульбочку, была у них ржица и другие съестные припасы – капуста, огурцы – то, что они вырастили в огородах; были и лесные ягоды, грибы. Антон ночевал в доме у местной матери небольшого сына, расстилая постель на большом сундуке в кухне перед печкой, у самых окон (а с утра скапывал постель и убирал). Женщина была малоразговорчива, сурова. Но отходила лицом, едва только видела мужчину – сержанта Пехлера, ночевавшего тоже в ее доме. И Анна Андреевна приревновала к ней его.

Антон уж навидывал всего все сравнивал, непроизвольно думал обо всем.

Вон местный старик, босой, неспеша потопал по снегу в мороз – надо же! А рядом с ним – не внук малолетний, а сынок его шлепает себе. Это зрелище занято всем, удивляет всех. Да, после парной баньки можно и босиком пройтись неспеша по снежной целине, как этот старик, завидую ему, говорил Коржев, называя стариком еще пятидесятилетнего бородастого и жилистого мужика. И его товарищи, армейцы молодые, так удивлялись тому, что тот шел

домой лишь в лаптях, насунутых на голую ногу. А также и тому обстоятельству, что тот еще был способным на отцовство.

Да, жизнь нигде не прекращалась ни за что, несмотря на смерть; она лишь притаивалась до поры – до времени и была способна вмиг раскрыться, как бутон цветка. Никто от нее не застрахован.

Антон самолично натаскал дров и воды в хозяйкину черную баню, натопил печь-кладку из камней-булыжников; едкий дым плыл, завивался, поднимаясь, в открытую дверь и окошко. В восторге вместе с ним друзья – Коржев, Аистов и Маслов – мылись, парились, визжали и фырчали от удовольствия. Уф! Как здорово! Стоило лишь плеснуть на камни ковш воды как она мгновенно превращалась в пар; после нескольких ковшей, в бане становилось жарко столь, что тяжело было дышать. И уж невозможно залезть на верхнюю ступеньку парилки, чтобы там, наверху, попариться, постегать тело веником! Да и на второй ступеньке посидеть нельзя... Была такая жара. И ведь еще и еще подбрасывали парку больше любители на потеху. Резвились отчаянно. Друзья с жары голышом выскакивали наружу, бултыхались в глубокий роскошный снег (какого больше нигде нет) и, полежав в сугробе, поболтав руками-ногами, вновь заскакивали в парную.

– Антоша, зайди, пожалуйста! – позвала его Ира в дом.

Он зашел в избу следом за ней и наткнулся на другие девичьи глаза – Любины.

– Что, из бани идешь? – Ира сияла, радуясь ему.

– Да, только что там были, – сказал он, смущенный вниманием девушек.

– Какой же ты чистенький, хорошенький, – не удержалась Ира. – Правда, Люба?

Они, девушки, вогнали его в краску, хваля его. Причем в присутствии пришедшего к ним в отдел солдата – письмоноса, доставлявшего в Управление нужную почту.

Антон уже видел его не раз. Небольшенный рядовой боец, уже в летах, всегда вежливый, исполнительный и многознающий, видно, как школьный историк, исказивая многие километры даже в непогоду, заявлялся сюда как некое открытие для всех штабистов, встречавших его как давнего знакомого с радостью.

Война между тем гуляла, и какое-то спокойствие – что комфортность – в этой долгой зимней стоянке уже утомляла дух управленцев. Это чувствовалось так. Хотя служилось им прежним заведенным образом. Между делами разучивали и пели текст нового гимна Советского Союза, только что опубликованного. Разговоры шли о подписке на «Большую Советскую энциклопедию», рассылаемую армейским подписчикам через военторги. Кинопередвижкой демонстрировались фильмы: «Они сражались за Родину», «Валерий Чкалов», «Чапаев». Антон же и Ира под опекой ефрейтора Аистова ездили в Починок (в Политуправление): там получили комсомольские билеты.

Да, именно успокоенность претила совести людей. Грех какой! Оттого еще, видать, и летчик-грузин «шалил». Он словно испытывал служак на прочность, на обычную боевую готовность. Не зря.

Для Антона же тут, главное, было открытием то, что он в эту зиму обнаружил разноликость окружающих его людей не только по их характерам, но и по тем качествам, насколько кто из них нравился ему или нет.

И вот уж апрель. Теплынь. Наконец дана команда на выезд. По-быстрому происходит сбор всякого армейского имущества, оно грузится, укладывается в кузова грузовиков. Все радостно хлопочут; дельны, подвижны, услужливо-приветливы. А яркое солнце, бликуя, лучами золотит ниточки в ручейках, в лужах, снеговые изломы, пластинки льдинок, металлические части автомашин, лица и руки хлопочущих армейцев. Горизонт тает в плывущее-дрожащей розовой дымке.

Постепенно выбрались на шоссейку, пролегшую за березовым мелколесьем; она была уже разъезжена, в разливных лужах, ошметках снега, нагруженные сверх грузовики угрожающе

раскачивались на выбоинах из стороны в сторону и часто застревали, останавливались. Приходилось всем даже спускаться из кузова или вылезать наземь и подталкивать даже дорожную избитую технику.

– Ну, прощайте, – заговорщически Антон шепнул на прощание провожающим березкам, когда за ними перед полуторкой открылся новый простор.

XIX

Бом! Бом-бом! Плыл-разливался опять в соседстве сладко-мелодичный колокольный звон – над зелеными гущами садовыми и нагретыми крышами Климовичей – с высокой колокольни светлокаменной церкви, обнесенной неразрушенной стеной краснокирпичной. Бом! И плывущий звук пленял сочно золотой красотой своей. За спиной недвижимого покамест в передышке фронта, собиравшего для нового удара по врагу силы свежие и возмужалые теперь, после трех военных лет. В храм молебельный тянулись преимущественно пожилые женщины, в платочках темных, – многолюдно здесь было по субботам, воскресеньям; возле него же, с внешней стороны ограды, там, где свободно от раскидистых яблонь (уже плоды видно зрели), само собой шумел базар: в рядах разложены главным образом ранние овощи и зелень – всего понемногу. Мир людской жил, соседствовал себе привычно.

Несомненно, вследствие трагических событий войны вновь немалое число испуганных жителей, а не то, что набожных, обратилось к религии – поверило в давние библейские сказания.

Толпясь под вознесенными церковными сводами и снаружи помещения и молясь, и прогуливаясь, верующие и любопытствующие участвовали в богослужении и соприкасались только с ним. А после сокращенно (обновленцами) в духе времени церковной службы прихожане с готовой поспешностью совали бумажные купюры и монеты на поднос, с которым по широкому кругу обходили всех пришедших сюда церковнослужители в черных рясах – неторопливо, чинно. По заведенному тут ритуалу. Так попадала на поднос и часть базарной выручки. Ведь дверь в церковь была для каждого открыта, не заперта: заходи, что говорится, с богом, – ну и веруй на здоровье, сколько хочешь. Никто не воспрещал.

Антон Кашин вышел к сослуживцам на террасу деревянного двухэтажного дома, обращенную к зданию церкви, когда к ее ограде изнутри легко приблизился бородатый быстроглазый батюшка, бывший в темном сюртуке и в черной шляпе, и, поздоровавшись с ними как со старыми друзьями-знакомыми, сказал без всякого предисловия:

– Вот молимся благодати, что погода установилась благодатная. Чай, на пользу делам фронтовым пойдет. Веруем...

– А то и будет, батюшка. – Иного и не ждем теперь, – уважили его солдаты.

Известно, наша православная церковь не сторонилась общего патриотического движения соотечественников: тоже жертвовала денежные средства на выпуск грозного оружия для скорейшего разгрома фашистских захватчиков. И, как пример, этот здешний поп, говорили, был даже награжден орденом Ленина за активную помощь местным партизанам во время немецкой оккупации: он искусно превратил действующую церковь в надежное место для их явок, укрытий, совещаний. Он – патриот и поэтому нынче правил церковную службу в согласии с местной властью.

– Видим, батюшка, у вас нынче много яблок уродится, – сказал старшина Юхниченко.

– Да вы их соберите потом, – сказал он с живостью. – Для питания солдат...

– Ну, наверное, нам уже не успеется...

– А-а, понятно все... Успехов вам! – И батюшка скрылся в саду.

И уже стемнело. Однако вход в белевшую церковь был открыт, и было видно, как туда пробирались двое неких полуночников.

– Может, то воры забрались? – беспокоился Антон.

– Нет, какое! – Сержант Петров фыркнул. – Я подметил: то влюбленные сюда повадились... На свидание, и поп не препятствует им – терпеливый самодержец.

У Антона, только что возвратившегося из отпуска в часть, было ощущение, что он вовсе и не отсутствовал в ней эти прошедшие три недели. Все сослуживцы были рады ему, расспрашивали его обо всем и о матери, и он не успевал отвечать на все их добрые расспросы.

– Ну-таки ты вернулся, отважный?! – Казалось, лишь старшина Юхниченко, кругленький кот, только не мурлыкающий, явно не разделял общего радостного настроения. – Ах ты мать моя старушка...

– Отчего же... – сказал Антон. – Ведь я вам сразу твердо говорил...

– Да мы ж не думали все-таки (он так и сказал: «Мы ж не думали...»), что ты вернешься к нам обратно, – зачем-то он уколол опять мальчишку.

После чего Анна Андреевна посмотрела на старшину осуждающе-недоуменным взглядом. Однако он, словно, и не замечал за собой ничего дурного в сказанном, не видел в своем прилюдном рассуждении ничего предосудительного. Есть сорт таких людей – некоммуникабельных и глухих к движениям другой души.

Тут Ира тоже, появившись, тотчас же восхитилась им, Антоном; она нашла его возмужалым, загорелым – увидела своими счастливыми по-детски глазами. Однако он-то знал доподлинно, что это она говорила ему комплименты от свойственной ей доброты, унаследованной ею, безусловно, от матери, дочери степей заволжских.

– Mamочка, я умираю, до чего есть хочу! – Обратилась она к Анне Андреевне. – Ой, я так спешила сюда на ужин – представьте, не шла, а буквально летела, мама, что, представьте, столкнулась с капитаном Шелег и сбила его с ног, ну, чуть было не сбила...

И только довольный и счастливый Антон решил для себя: «Ах, как хорошо, что я снова вместе со всеми! Я во всех влюблен... Славные люди!..»

Как Юхниченко пробасил:

– Вот что, Кашин: ты давай-ка завтра дуй к лошадам. Усек? Там помочь нужно.

«Ну, если бы не вернулся назад – кое-кто и не заметил бы этого, пожалуй. – Подумал Антон – Но кому же было бы хуже?»

Лошади, принадлежавшие Управленческой части, содержались на зелено-травяной окраине Климовичей, где легче было их кормить, выгуливать и пасти: на полном-то приволье.

Старший конюх Усов, тощий и усатый пятидесятилетний солдат, чинивший, сидя возле палаточки, амуницию, когда Антон подошел к нему с объяснением, что назначен в помощники, его назначение и его самого встретил без восторга, кисло. Был он вообще угрюмого склада человек, недоверчивый, не расположенный ни к кому в особенности. Однако сразу дал охотно распоряжение на тот счет, чем Антону следовало заниматься: велел поймать, привести и впрячь в бричку пасущегося вороного мерина.

С обротью Антон шел целиком кочковатой долины, когда из густой травы, почти из-под самых его ног, подняв уши торчком, выскочил серый лоснившийся комочек – заяц; он на миг присел, скопился на Антона, тихо сказавшему ему, чтобы не боялся он, и затем легкими прыжками, петляя, лениво пустился наутек.

Не без некоторой сноровки, полученной в детстве, и хитрости он обротал жеребца. Подведя его к остову разбитого грузовика, взобрался на него даже верхом и прогарцевал, чтобы побыстрее доехать. Но дальше на пути торчали какие-то большие кочки, и жеребец перешел на шаг. Антон не подгонял его – с наслаждением глядел по сторонам. Только лошадь напоследок вдруг рванулась вновь, скакнув и взбрыкнув; так что, не удержавшись от ее норовистого рывка, он, к стыду своему, скатился с ее гладкого крупа и упал – шмякнулся о землю. Отчего, разумеется, ушиб бедро и локоть. Но большого стыда не испытал от этой неудачи, так как не

видел рядом зрителей. И снова, потирая больное тело, отправился в отдаление, стал излавливать лошадь, убежавшую уже с обротью. Причем она еще агрессивнее норовила стукнуть его задними ногами и, не даваясь, вертелась перед ним подобающим образом или отбегала дальше. А он приговаривал настойчиво:

– Ты метишь, чтобы ударить меня копытами. Не выйдет, дорогая. Ничего-то у тебя не выйдет. Но, но, не балуй!

Когда же наконец он вел ее под уздцы, над ним зажужжала разгневанная пчела, и он, отмахиваясь, крутя головой, аж чуточку присел в мягкую, как шелк, траву. Да было-то напрасно все: тотчас он почувствовал острую боль в шее – пчела, видимо, запуталась в его волосах и напала все-таки, ужалила.

С чуть зудевшим пчелиным укусом, правя в запряженной бричке норовистым меринном, Антон уже нерадостно думал: «И зачем я только согласился работать с этими лошадьми и нелюбезным Усовым, к которому нельзя привыкнуть?» Но потом остановил себя: «Стоп! Стоп! Я же ведь возвратился к военным будням – ни к чему иному! Добровольно, между прочим...»

Так возобновились они – его армейские будни.

XX

Вскоре все ожидаемо вновь пришло в движение.

6 июня 1944 года англо-американские войска высадились в северной Франции, открыв поздний второй фронт в Европе, а затем и советские войска двинулись в Белоруссии на запад – и был тут обратный сценарий маршу сюда немцев летом 1941 года. Прифронтовые госпиталы принимали раненых и перемещались вперед по освобожденной территории.

Уже ввечеру Саша Чохели, шофер, припозднившись, въехал по пути в Климовичи, вошел в столовую с дорожным металлическим кувшином.

– Саша, давай поешь обед, ты же голодный весь день, – встретила его Анна Андреевна, засуетилась.

– Нет, Аннушка, – оговаривал он. – Мне только котлетку дай или что еще... По-быстрому проглочу. И, главное, воды набрать – для питья. Я раненных немецких офицеров везу в госпиталь. Полный автобус... Некогда...

Ну, конечно же, сослуживцы, любопытствуя, вышли посмотреть на пленных легкораненых немцев, сидевших в салоне на креслах, и те очень услужливо предлагали кому-то сигарету и прикурить, протягивая в открытые окна и зажигая зажигалки. Такое занятное явление! Превращение...

Нет, неверящий в чудеса Антон Кашин нисколько не был очарован теперешним услужительством их, невольных знакомцев. Он смотрел на все по-юношески строже всяких превратностей судьбы, которые ничто-ничто не могло стереть из его памяти – никакие чудесные метаморфозы. Он ясно сознавал: ведь кровавые нацисты, напав на нас, советских людей, несли нам только погибель. Нужно это помнить. И не забывать.

И как-то картинно, неправдоподобно казалось то, что Стасюк, поднявшийся в салон автобуса, по-польски спросил у немецких офицеров, есть ли среди них говорящие по-польски. Промолчали все.

И когда по-хозяйски Саша Чохели внес в автобус кувшин с водой, кружку и включил панельный свет, немцы вдруг залопотали в изумлении – оттого, что у русских в автобусе это есть – действует такое электрическое освещение! Вот открытие для них!

Антон же дивился тому, что безоружный Саша открыто и в одиночку доставлял их в госпиталь, чем проявлял свое обычное солдатское бесстрашие и уверенность в успехе, что было совсем небезопасно в военное время.

– Может быть и ты, Антон, пойдешь с нами, а? – предложил ему дружески в душный обеденный час лейтенант медицинской службы Скосырев. Он увидел его на балконе, а держал под мышкой полотенце. – Давай!..

– А куда, товарищ лейтенант? – больше по инерции спросил Антон, хоть и догадался сразу, куда тот звал: ведь поблизости, внизу, текла настоящая река с ее прохладой...

– Думаем в Днепре искупаться, – сказал, улыбаясь, лейтенант.

– Ой, тогда пойду... – У Антона дажехватило дух от такого предложения: шутка ли! Он не купался нигде с лета сорок первого... Тем более, что на Днепр он еще ни разу не ходил, а с того момента, как они переехали сюда, под Могилев, уже прошло три жарких дня. Немедля он закрыл дверь кабинета командира части изнутри, используя обычную доску вместо задвижки, засунул под ремень полотенце и спустился с балкона второго этажа по привязанной веревке, после чего конец ее забросил обратно на балкон.

Скосырев с любопытством наблюдал за его упражнениями.

– Да, техника спуска, парень, у тебя премудрая.

– Сам додумался до этого, – разоткровенничался Антон, радуясь его расположению к нему и предстоящему купанию. – А иначе нельзя. Кабинет начальства – подполковника Ратницкого. Нет замков и ключей. Он велел мне его покараулить, а сам уехал куда-то на несколько дней. Я все перечитал... Ни туда и ни сюда...

Действительно, он почти безотлучно находился при его служебном кабинете, как бесменный часовой, и здесь теперь фактически и жил, и ночевал на балконе (поскольку в комнате было жарко). А ему хотелось побольше увидеть всего, что было, делалось вокруг. Ведь до войны здесь был большой завод автомобильный. Только в первый день он еще съездил на лошадях к одному разбитому корпусу: оттуда они привезли кирпичи (для кладки временки-плиты). Правда, он выходил из кабинета завтракать, обедать, ужинать; но при том он чувствовал себя неловко за свое невольное бездействие, потому спешил уйти долой с глаз людей.

– А как ты поднимаешься опять туда?

– Приставная лестница, и все. Потом выхожу нормально, через дверь – и бегом уношу ее...

– Премудро это все! Пойдем! – скомандовал лейтенант: к ним подоспел сержант Коржев.

Здесь повсюду росли сосны. Был вездесущий песок. И крутой, великий, полный малиника, береговой спуск, в котором нарыли немцы сквозные подземные тоннели, недоступные для бомбежек, вел на широкую зеленую приречную долину. На ней поднялись госпитальные палатки. Под этой горой один за другим часто кружились и садились незаменимые на войне двукрылые «Кукурузники». Они доставляли раненых – их извлекали из кабины, а также из люлек, подвешенных под крыльями, и тотчас же несли в палатки для оказания врачебной помощи.

А ниже по течению Днепра форсированно воздвигался в эти дни деревянный железно-дорожный мост, высоченный и длиннющий. Строители там ползали, точно муравьи, по наложенным крест-накрест спичкам-бревнам; на нем шла работа и ночью при ярком электрическом освещении, получаемом от движков. Едва же подлетали немецкие бомбардировщики (уж так пытались немцы разбомбить этот строительный объект), – свет мгновенно выключался.

Когда они втроем подошли к реке вплотную, Коржев, осмотревшись, вдруг торжественно сказал:

– Вон, товарищи, и трос натянут. С берега на берег.

– Ну и что же? – удивился Антон, подобно лейтенанту расстегивая на ходу гимнастерку, чтоб скорей раздеться.

– Очевидно, в этом месте была переправа наших, и ходил паром, – объяснил ему лейтенант. И его молоджавое румяное лицо, и его спокойные мягкие глаза светились сейчас одним дружелюбием ко всем.

И как же Антон не замечал того в нем раньше!

– Слушайте! Идем к мосткам. Все безопаснее... – Насчет мин...

Сержант уже гимнастерку снял.

Спешно-спешно, как будто за ним гнались, они разделались подле мостков; побросав одежду, взбежали на просторные мостки, вдававшиеся в реку, и разом шумно бултыхнулись в воду. Антон решил не отставать. И когда вынырнувший лейтенант, захлебываясь от восторга, некстати поинтересовался у него, умеет ли он плавать, он хотел все доказать ему на деле. Что-то прокричал ему и прыгнул в воду. Но, словно в подтверждение его запоздалого опасения, отчаянно забарахтался в ее глубине. К ужасу своему совсем потерял ориентир, касался даже дна – и никак не мог выплыть на поверхность. Это продолжалось, наверное, долго; был уже момент, когда он знал, что окончательно тонул, и точно знал, что надеяться уже не на кого. Однако до конца не верил этому, не испугался все-таки – и где-то – где-то выплыл наконец.

Потому-то Скосырев тяжело блеснул глазами на него и, видно, от волнения из-за него, напряжив свой красивый сильный торс, тяжело вздохнул. И отвернулся невольно в сторону. А Коржев пошутил:

– Скажи, пожалуйста! Ты глубоко нырнул, Антон?..

– Э-э, полно вам злорадствовать, фу! – говорил он, вылезая вслед за ними из воды. – Я отдышаться не могу. Просто не купался я давно – три года (последний раз – нырял в двенадцать лет) – вот теперь просто запутался... где дно, а где поверхность... Сразу не нашел, и все...

Оба они засмеялись, подобрели к нему чуть. И Скосырев сказал:

– Да, не скажи гоп, пока не перепрыгнешь.

Потом еще окунулись. Только Антон уже вошел в реку по илистому дну и поплавал недалеко от берега. Тем более, что неожиданно на самой середине Днепра, метрах в пятидесяти отсюда, рванулась какая-то мина, взметнув высоко белый столб воды: заплывать подальше было все-таки опасно.

Иногда они спускались сюда и вечером. И каждый раз Антон подсознательно отмечал, как предельно быстро поднимался новый мост над Днепром: сложенные из бревен быки росли буквально на глазах. И когда темнело, ярко вспыхивала там иллюминация огней – зрелище еще внушительней и красочней.

И однажды удалось ему наблюдать как на возведенный мост замедленно вползал первый эшелон, очень длинный эшелон, составленный, казалось, из совсем-совсем крохотных, игрушечных вагонов – по сравнению с громадными размерами моста! Вот эшелон вполз на мост, и полностью на нем уместился! Потом, постояв, пополз назад.

Антон даже затаил при этом дыхание.

– Да, не скажи гоп, пока не перепрыгнешь, – сказал Скосырев.

И сказанное им Антон применил к себе, а также и к юному сверстнику, который был старше его лишь на год и который, было, тоже пристал к ним, как воспитанник, прошлым летом в пыльном селе под Смоленском. Но, пристав, не ужился почему-то в военной части. А ведь он метил сразу попасть почти в ординарцы. Сметливо-бойкий, разбитной, лобастый, не тихоня. Он быстро понравился всем. И целый день провел в кабинете подполковника. На другой же день исчез дикарским образом, ничего не сообщив о себе никому.

Каково-то пришлось командиру Ратницкому! Пугала неизвестность: где беглец? Что с ним? Немедленно помчались на легковушке к дому матери, отстоявшему отсюда десяток верст; приехали сюда – и он оказался уже дома. Тем не менее, мать умолила Ратницкого (и его доброту и терпение были исключительны) вновь взять в часть сына. И его снова привезли. Со вторичным обещанием вести себя подобающе послушно, смиренно. Что ж...

На другой день по случаю Антон зашел в избу, где квартировал командир, и, увидав там вихрастого русоголового мальчика со смелым взглядом, познакомился с ним. Его звали Павлом. Нужно сказать, что Антон еще накануне, размышляя, решил: «Все мы пострадали от войны и равны между собой. Так что будем дружить. Лично я готов. Действительно, если уж он здесь волею судьбы, то буду с ним дружен, если он захочет – мне больше ничего не надо».

– Что, будешь служить у нас? – спросил Антон у него.

– Может, и буду, – неохотно-беззаботно протянул парень, но поглядывал на него ровно свысока, уже определенно осознав свое якобы превосходство, свою исключительность в чем-то. Он будто делал ему какое-то одолжение! – Еще посмотрю. Не привык я, знаешь... Как-то пыльно здесь, а?..

Смеялся тот, что ли, над ним?

Во вторую их встречу третьего дня Павел странным образом засомневался – выпытывал у Антона, нужно ли ему вообще когда-нибудь быть в военной части. Выходило, что у него самого на этот счет ничего пока еще не определилось, не решилось ясно: сильно колебался он. И Антону-то что же оставалось: уговаривать его решиться? Да зачем умасливать? То невозможно. Его опыт нахождения среди военных был лишь собственный, т.е. малопригодный для кого-нибудь другого. Это очевидно всякому.

А четвертого дня Павел, обмолвившись кое-кому о том, чтобы его больше не искали, опять сбежал домой – теперь уж окончательно. По-видимому, был настолько все-таки непоседлив, вертляв и избалован (удивительно для деревенского подростка), что не испытывал никакой нужды – охоты в строгой армейской службе без всякой экзотики; он не мог ее выдержать и лишний час, даже в роли наблюдателя, – все воочию проверилось. Только к лучшему. И покамест поначалу было ему еще интересно – было что-то новое и то, что его почему-то обихаживали все, – он еще мирился несколько с неудобствами какими-то; ну, а дальше этого не пошло – вот не хватило у него верного характера, нужной собранности и тихой жажды увлеченности на жертвенность собой. Не каждому она дана. Не с каждого и спросится. Проще, разумеется, дать обратный ход.

Итак, страсти по приручению улеглись. Наглядно разрешились.

Происшедшее и также недавний выбор Антона без раскаяний потом, то, как остро сам переживал раннюю разлуку с близкими, по-новому показывали ему со всею очевидностью, что в любом значащем поступке важно твое устремление первоначальное; мало нам надежды на случайное везение, надо приучать себя к стойкой последовательности во всем (и в суждениях) и учиться знать, что можно позволять себе, а что нельзя совершенно, и уметь по чувствам своим судить о чувствах других людей. Ведь ничто не дается даром.

Вскорости все забыли о Павле. Будто бы и не был он. Да и скоротечной случилась остановка при селе, чтобы о том помнить как-то.

XXI

Дорога вела в Белоруссию.

Позади остались Днепр и освобожденный Могилев с раскрашенными зелено-пятнисто (под окружающий летний пейзаж) фасадами еще уцелевших зданий – попытка изошренных насильников-немцев маскировкой сбить с толку, и так задержать наступавшие советские войска. Да все тщетно оказалось: уже ничем не сдержать их неудержимый натиск. Враг отступал ускоренно. И несколько армейцев вместе с Антоном радостно катили вперед по шоссе в старом дребезжащем автобусе. Да вдруг остановились на дорожном подъеме по причине важной. Здесь, под зелеными шатрами придорожных лип; громоздилось несколько наших тяжелых танков, самоходок; они, выведенные из строя, – на салатного цвета броне у них виднелись следы – отметины от вражеских снарядов, – они ремонтировались сразу в полевых условиях. И тут

солдатня, споря об их мощи, даже лезли к башням танков и с уважением измеряли шириной ладони, приложив ту к стали, толщину лобовой и боковой брони. Проявляли свою заинтересованность. Ничего себе – она, броня, толстенная! И так обстоятельны, степенны измазанные мазутом танкисты в черных комбинезонах. Также с оживленным, лихорадочным блеском в глазах – оттого, что дела фронтовые теперь шли успешно. Лучшего и желать нельзя.

А на покато́м шоссе с азартом катались-сновали на самокатах, в просветах среди пробежавших военных автомашин, местные мальчишки возраста Антона и поменьше. Замурзанные, но несказанно счастливые. Да, было это рядом: война, танки и детство, хрупкое и неистребимое, прорвавшееся опять в мальчишеских сердцах. Вместе со счастьем обретенной вновь свободы. Самокатчики вольно разбегались, катились под уклон горки; они не хотели играть в войну – ею, настоящей, были сыты. Понять можно. Лишь в одном Антон чуточку позавидовал им, так мимолетно встретившись с ними, – что он сам-то уже был далек от чего-то подобного, от возврата к нему детских забав. В то же время и очень гордился, что находился сейчас здесь, в потоке советских перемещающихся войск, в самой гуще событий, куда стремились и они, его сверстники, побыть вместе с радостью своей. И ведь никто не запрещал им кататься на дороге, никто не ругался из-за этого на них: радость была всеобщей – они тоже дополняли ее своим оживлением, своей суетой, словно были ее особенной приметой этих ясных дней.

Это было наяву. И на виду.

На фоне мрачных завалов разбитой военной немецкой техники и машин брели в плен кучки манекенов – серых зачумленных вояк-немцев; дымились их стоянки обугленные – кладбища оружия и лесные уголья – с оборванной их жизнью; в спело-желтых, ломких для глаз разливов ржаных полей кучно застыли навсегда черные пугала – десятки заползших танков. Они осели под ударами фугасов. А нежные хрупкие ржаные колоски, качаясь, клонились к шафрановой земле.

XXII

Все автобусные пассажиры сразу стихли в напряжении, когда ехали по Минску: перед их глазами он явил гордо свой горький лик – обезлюденный, обескровленный, разваленный немецкой военщиной за три года его оккупации. Уже слишком знакомая картина по освобожденным советским городам и поселениям, которые приходилось видеть. По обе стороны минских улиц горкой торчали одни каменные развалины, нагромождение руин, осыпи, норы и хаос; вдобавок витки колючей проволоки и заборы опоясывали кварталы и уцелевшие еще здания, было занимаемые нацистами. Неужели же подобный ад возможен? Да также не придумаешь нарочно, если только в здравом уме находишься. Кто-то из армейцев, сожалея, прокомментировал въявь увиденное, а кто-то от того лишь прицокивал языком, как бы осуждая твердолобость немецких крестоносцев, уверовавших в способность какими-то колючками и заборами обезопасить себя на нашей территории и выжить, уцелеть. Они сами себя загнали в западню. И ничто уже не спасет их от полного разгрома.

Перед летящим по Минскому шоссе автобусом, – выползли откуда-то из-за зелени кустов – несколько немецких замызганных солдат. На, тебе! Они словно бы голосовали. Знаками не то велели, не то просили остановиться; неизвестно, что замыслили; однако видно: шмайсеры у них в руках опущены с покорностью. В худшем случае, все равно уже не успели бы проскочить мимо них без всякого урона для себя... При двух-то имевшихся у офицеров пистолетов... Да, известно, было-то пока небезопасно здесь, ибо фанатичные до конца гитлеровцы из числа окруженных и еще не выловленных полностью, случалось, даже нападали теперь и на наши тыловые санитарные автомашины. Убивали, грабили. Всего полчаса назад, как рассказали, совсем курьезная история приключилась в одном здешнем селе за полночь. Хозяйка

пустила на ночлег в свой дом молоденьких бойцов; они пристроились на полу, заснули. А ночью снаружи в окно застучали подошедшие эти незваные гости. И потребовали: – «Матка, яйца! Млеко!» Ненасытные прожоры. Видишь ли, лопать им подай! Оголодались, поди. Ведь всю войну напролет они только и долдонили перед русскими бабами: яйца, млеко, сала! Хотя сами мигом всю-то живность вокруг слопали. И так, немцы-окруженцы в окно: тук! Тук! Тук! Матка, млеко, яйца! Шнель! Услыхали этакое ночевавшие в избе бойцы – да и началось невообразимое: они с полу повскакали, полусонные, поначалу и не могут, значит, все понять – сообразить. Крикнули команду, кинулись куда-то в сторону – вон из избы. И те прожоры в другую сторону дали деру. Так, видать, и разошлись. Без единого выстрела.

Ну, а эти фрицы чего ждали-поджидали? При подъезде к ним шофер Авдеев тормознул.

И вот запыленная, серая, во френчах, солдатня с почернелыми физиономиями, почти масками, охотно побросав под ноги карабины, ясно жестами показывала, что сдается в плен. Мол, берите их.

Старший лейтенант Папин вышел из автобуса и велел им теперь самим топтать дальше в тыл – там обязательно возьмут их в плен. Да, да! И он для пущей убедительности махнул рукой в восточном направлении. Тем не менее, солдаты, несомненно, столь привычные к немецкому порядку, тотчас не могли, наверное, взять в толк, возможное для них такое шествие свободное, без всякого конвоя; они в нерешительности побрели самостоятельно дальше, зацокали сапогами, но еще оглядывались беспокойно на ходу, точно проверяли, правильно ли поняли команду, которую отдал им русский офицер.

Однако, не успокоившись, и на этом, они вскорости остановили тоже встречную полуторку – верно, обратились с прежним своим предложением. Только и те военные, кто ехал в ней, также отмахнулись от них напрочь – показали на восток.

Вот какая незадача вышла на дороге. Что же получалось: они, вояки, выбывшие из войны, больше никому и не нужны? Совсем не опасны? Полное им доверие? Ну-ну!

Перед Березиной-рекой пошла местность низинная, болотистая, и автобус уже натужно втянулся в зыбкую езду по неровному и хлипкому бревенчатому настилу. Технически мыслящие немцы положили для себя здесь бревна (из разобранных тоже изб) на всем дорожном протяжении – похоже, среди топкой обширной, белесой под солнцем низины с осоковой растительностью и цепким кустарником. Чернели по сторонам рыхлые провалы и месиво: следы от разрывов снарядов и мин. Но, к удивлению едущих, сколько ни тащились, ни тряслись в автобусе, вдали все еще не просветливалась ожидаемая глядь реки. И только явственней, определенной и настойчивей, чем дальше ехали, потянуло отовсюду сладковато-приторным запахом. Не сразу и сообразили, что это такое. Капитан Никишина, еще поморщившись, проговорила удрученно:

– Как неприятно пахнет, товарищи! Слышите?..

– Трупный это запах, – сведуще сказал, покусывая губы и не оборачиваясь с кресла, старший лейтенант Папин. Ведь жара: разлагаются убитые в бою...

– Неужели? – И платочком некоторые дамы нос зажали. Больше подзатихли.

Кто-то предложил:

– Так давайте пока все окошки закроем – уж как-нибудь перенесем, думается, духоту...

– Извольте, пожалуйста! Можно...

Защелкали закрываемые верхние окошки.

Тем не менее, по-прежнему воняло приторно, а двигались медленно, настил пружинил, прыгал под тяжестью автомашины; значит, нужно просто смириться с этим – выдержать, коли пришлось. Не иначе.

«Ну, скоро ли, – росло у Антона нетерпение, – скоро ли проглянется она, река, знаменитая известным бегством некогда наполеоновских войск из России, а теперь – и гитлеровцев;

их, безумных завоевателей, одинаково осилила река нашего народного гнева – смысла позором, и они бесславно покатались, сломя и теряя голову».

Наконец-то впереди, за зелеными мазками деревьев, проблестело, обозначась четко, плоское однообразное водное пространство, какое-то незыблемое, неказистое на первый взгляд, совсем не величавое.

«Что и все?! – всматривался Антон в реку с разочарованием: надеялся увидеть что-то исключительное, несравненное. – Ну, разумеется: Березина – всего лишь приток Днепра. А Днепр, начинаясь на Смоленщине, и сам в здешних местах еще невелик».

Обыкновенная, без особенных примет, Березина текла спокойно и извечно по избранному ей руслу, как и сотни лет назад.

XXIII

В предвечерний час воинский автобус с управленцами уже катился за пыльным белорусским городком Негорелое – известном пункте прежней, проходившей здесь до 1939 года, государственной границы СССР. Оттого и ехавший в запыленном салоне автобуса солдат Стасюк, первый советчик и доброжелатель Антона Кашина, все никак не мог смолкнуть – вел себя невоздержанно, как одержимый, но вполне нормальный все-таки человек, если разобраться. Он после осеннего ранения на передовой все безраздельно хозяйствовал при кухне. И сейчас, показывая свои желто-прокуренные зубы, что-то говорил и говорил – целые цитаты и фразы по-русски и по-польски. Словно всем напоминал, что еще не забыл чего-то и даже чуть ли ни пел вслух. Когда он с волнением называл города – Столбцы, Мир, Турец, Кореличи, которые предстояло теперь проехать в освобожденной вновь западной Белоруссии, казалось, что в этих названиях звучала сама музыка. Понятно все. На то были у него свои веские причины. Он именно здесь родился и жил, батрача, до 1939 года – времени освобождения территории Красной Армией; отсюда он подался на Кубань – и до войны жил там одиноко. Из родных же у него осталась в здешних краях одна сестра, и все. И он очень надеялся – если она жива, здорова – свидеться с ней вскорости. Сколько – целых пять лет – не видел ее и не знал ничего о ней!

Оставалось совсем немного ехать.

В долгом, перемещающемся на запад, потоке советских войск и кочующего туда-сюда народа, когда разбиты дороги и мосты и только наведены временные узкие переправы, нередко возникали скопления, заторы, а то и обычные казусы и перебои в работе автомашины, вследствие чего длились всевозможные остановки. Полдень давно наступил: немыслимо пекло солнце над самой головой; влажный воздух дрожал от испарений – было душно. Стлалась от движения пыль. Вокруг тарахтели военные грузовики; лязгали колесами брички, телеги; слышались довольные то русские, то польские, то приглушенные немецкие – пленных солдат – голоса. И заманчиво прекрасные, чистые сосновые и еловые боры обступали там-сям шоссе.

Автобус мчался.

– А вот, пожалуйста, и Кореличи мои! – возбужденно Стасюк заглядывал в автобусные окна.

Въехали в уютно-красивый городок, утопавшей в зелени, – к нему вплотную подступали поля желто колосившейся ржи. В нем белел камнем костел, красовались разные небольшие тротуары, фонарные столбы... Однако не успели еще развернуться, как автобус вдруг резко замедлил ход – оттого, что звучно – выстрелом – хлопнуло что-то. Он заметно осел. Светлолицый шофер Авдеев чертыхнулся слышно: случился непредвиденный прокол шины. Он тут же несколько отрулил от дороги на площадку, под развесистый дуб и почти радостно (что же делать?) объявил всем:

– Все, вылазти, хлопцы! Приехали, можно сказать... Перекур.

Все сослуживцы послушно вышли наружу и стали бесцельно ждать момента, когда он залатает прорезанную острым снарядным осколком камеру. Тем временем, пользуясь подвернувшимся случаем, что Авдеев мог и провозиться долго с колесом, Стасюк умолил (и все подержали) старшего лейтенанта Папина, финансового работника, назначенного ответственным за рейс, отпустить пока его – ему не терпелось повидать сестру. И так уговорились, что Стасюк может при благополучном исходе прибыть завтра прямо в Новогрудок – и адрес ему дали.

Солдат благодарно просиял: в кои-то лета отпуск получил! Он аж прямо распрямылся на глазах, расправил плечи. С суетливостью почистил блекло-мятую амуницию, привел себя в порядок. И, сказав:

– Ну, на любой попутке доберусь с закрытыми глазами, вы не беспокойтесь. Счастливо вам! – с нетерпением заждавшегося, не теряя зря ни минуты времени, уверенно пошел своей спорой, переваливающейся крестьянской походной вдоль желтого клина густо клонившейся ржи, по тропке. Все дальше и дальше – к совершенно не видневшейся за городской окраиной деревне.

Затем сюда подвели со шкробаньем подошв об горячий асфальт и камни колонну обмызганных пленных немецких солдат в характерных серо-зеленых мундирах с накладными карманами. Испачканные копотью чужие лица сникло-хмуры, подавлены, насторожены. Да, это уже не 1941-й год, когда гитлеровцы с превосходством новейшего оружия, своей грубой силой, лучшей военной организации и большого практического опыта разбоя (не шутка – всю Европу поставили на колени) давили всех и им уже осталось, мнилось, лишь чуть додавить на Москву и головы у них, крестоносцев, кружились уже от ощущения близости победы. Да только не вышло...

Вояк контролировали трое верховых молодцеватых партизан в пилотках с отличительной красной косой лентой. Таких – сильных, уверенных и гордых молодцов, по-победному сидящих в седлах на бывалых, послушных лошадках – уже доводилось видеть, на марше в лесах. Один плотный наездник остановил конвоируемых на площади, легко соскочил с коня и, ведя его в поводу, открыто-приветливо пробасил:

– Товарищ старший лейтенант, примите группу пленных. Триста человек. Взяли нынче...

Смущенный этим предложением, Папин сожалеючи отказал: пояснил сбивчиво, деликатно:

– Понимаете, мы проездом вот – передислоцируемся дальше; вам надлежит, вероятно, к коменданту местному обратиться.

– А он, что ль, назначен? Где?.. – Усталый конвоир метнул темными глазами по домам. – Должно, здесь?.. Ну, хорошо. – И тотчас же, повернувшись, остановил с пристрастием троих подозрительно молодых ходоков – гражданских с узелками: – Местные вы, али что?

Те испуганно повиновались:

– Не-е... Сбегли, тикаем мы до дому. Сами – могилевские, считай...

– Так. Предъявите документы!

– Да какие ж, право?.. То – бумажки, знаете... Немцы силой угоняли нас...

– Отчего ж не партизанили?

– Не могли уйти...

– Что за бредни! Другие-то смогли?! А ну-ка, станьте в строй – там, в комендатуре, хорошенько разберутся, что к чему, – не церемонились нисколько верховые. Вели себя как истинная власть, наводившая должный порядок. – Эй, пошел, пошел...

И опять зацокали копыта и зашкробали сотни людских ног.

Поврежденная камера была залатана, накачана и колесо опять поставлено – готово все; минул условленный час – Стасюк не возвратился, и его не стали уже ждать. Мотор затарахтел привычно. Автобус тронулся.

XXIV

Ранний свет летнего дня залил окна. «Какое же сегодня число?» – соображал Антон, проснувшись и покамест лежа на полу на соломенной подстилке. Кто-то слышно рубил и колол дрова. Нужно подыматься ведь! Все-таки не на курорте, чай; надо помогать – нет же еще Стасюка, наверное. И Антон вскочил на ноги.

Пока оделся, поблизости, на улице, чихнули; вслед за тем прямо-таки заворковали незнакомые женский и мужской голоса:

– Ты слышишь, что это я иду?

– Да, по чиханью твоему услышал.

– Фу! С ума можно от тебя сойти... Совсем не считаешься с моим мнением.

– Нет, я только бренчу, как колокольчик. А тебе хоть бы что, голубушка. Ни жарко, ни холодно.

– Ладно, не солнце. – Женщина тихо смеялась. – Ты только не жалобься слезно, прошу! – И тотчас же: – Ой, что бы люди делали, если бы солнца не было, не знаю! Господи! Что будет, когда его совсем не будет? Ведь это когда-то будет: кончится все. Через миллиарды лет! И чтобы люди также делали без цветов – не знаю! О, здесь в большом почете георгины: насажены в огородах всякие. А вот я их не люблю. В них что-то купеческое, яркое: хотя так, в садике, они и нарядны... Очень... Ишь ты, какие они самолюбивые, взгляни! Характеры...

– А мне, знаешь, все-все понравилось. Я пораньше прогулялся – малость обошел кругом. Чудесный этот городок. Постройки со шпильями, башенки, терраски, тротуары деревянные, заборы легкие, крашенные, полисаднички – будто и впрямь мир наступил для нас.

Да, знакомые голоса. Так разговаривали капитан Цветкова и старший лейтенант Папин.

Для всех-то тем привлекательней, особенной казалась мирная жизнь, с которой соприкоснулись, в образе почти мирного городка.

Чудилось, сама безмятежность царила в тыловом Новогрудке, будто заслоненном лесопарком. В нем функционировала небольшая деревообделочная фабрика, существовал даже рынок, вполне сносный. С железнодорожной станции доносились паровозные гудки и перестук колес вагонов. В соседстве же с Управлением госпиталей, буквально через улицу, располагалось какое-то большое моторизованное подразделение: все время моторы ревели. Отсюда, из висевшего на дереве репродуктора, то и дело, а особенно по вечером, разносилась то музыка, то раскатистый дикторский бас (Левитана), когда зачитывались очередные приказы Верховного Главнокомандующего фронтом и соединениями и перечислялись вновь освобожденные нашими войсками города. Ближайшее небольшое здание, что было в стиле замка, занимал штаб: сбоку него был завал из остатков деревьев, земляной насыпи, торчало убежище. И обычно перед ним, на площадке, или ниже на лужайке, в вечерние часы собирались группками военные и местные жители, фланировавшие парами, и под баян или аккордеон возникали стихийные гулянья с плясками и танцами. А наутро их участники весело делились впечатлениями. Как, собственно, и о толкучке на рынке, если там кто-нибудь бывал ради интереса, – никто не чурался неизведанной, свалившейся прямо с неба, прелести пожить вольготней – в общем приподнятом настроении от успешного хода военной кампании, близившейся, наверное к завершению.

Тогда же Стасюк нашел свою сестру живой, вполне здоровой. По прошествии еще двух дней он выхлопотал себе у командира части трехдневный отпуск – намеревался ей помочь в хозяйстве, кое-что подремонтировать. Купил у управленческом военторге красные женские сезонные туфли для подарка – и, радостно преображенный, отбыл себе вновь. Как и не было его. Так что у Антона невольно увеличились рабочие заботы и нагрузка.

Когда Кашин таскал ведром воду из колодца, перед ним возникла поджарая фигура старшего лейтенанта Папина, финансиста, поклонника, можно сказать капитана Цветковой, и услышал от него призыв – определенный, не терпящий отлагательства:

– Я за тобой, дружок, пойдем со мной... давай... поможешь тоже. Всех вот собираем...

По договоренности с начальством. Оставь все. – Он был собран и серьезен.

– А куда? – удивился Антон.

– Недалеко – на станцию. Там узнаешь все... Идем... Некогда...

На тротуаре их ждало несколько человек, в том числе и Ира:

– И ты тоже идешь, Антон? Ну, и хорошо. Говорят, что сено будем в вагоны грузить.

– Там все уточним, – бросил Аистов, их комсомольский вожак, на ходу.

Да, будто вернулось для них старое, мирное время. На станции им пришлось действительно лезть в огромный сарай и кидать туда и уминать сено, видно, накошенное солдатами и подвозимое сюда автомобильным транспортом. Убиралось все, разумеется, на случай дождливой погоды. Сено предназначалось главным образом для подстилки в вагоны и автомашины, чтобы отправлять в тыл раненых. Но и также, вероятно, для корма лошадей, которых находилось очень много во всех воинских частях.

Работалось всем на уборке сена споро, весело от необычного ощущения прикосновения к крестьянской работе; был живой коллективный крестьянский труд, знакомый почти каждому, не в диковинку; пряно пахучие сенные охапки на вилах подавали и закидывали на укладку, и армейцы их уминали, утрамбовывали равномерно, прыгая еще вниз с перекалдин кувырком – бывшее любимое мальчишечье занятие в сезон сенокоса. Только и следи за тем, чтобы не зацепили тебя вилами. Да и каждый работник тут, верно, с приятным чувством вспоминал не раз свое пахучее лето детства, участие в сенокосении, близость к земле (у кого такое было). А где-то еще всю грохотали пушки, взрывались бомбы, кипели неистовые бои – на всем протяжении огромного фронта.

XXV

Так они убрали сено еще следующий день.

– Может, пойдем искупнемся? – предложил Антон солдату Сторошуку после работы. – На речке.

На окраине Новогрудка, за сосняком, небольшое картофельное поле спускалось вплотную к неширокой, но стремительно текущей речке с довольно холодной (что ключевой) водой – наверное, потому, что текла она среди леса. Антон уже купался здесь вместе со своими товарищами.

– Нет, я пойду-ка в другое место, – сказал важно Сторошук.

– Куда? Не секрет?

– Хочешь в душ?

– Как же здесь душ? Наша-то душевая установка еще не действует.

– Не удивляйся. Там, за речкой есть. В том белом здании санатория.

– Но там же будто заминировано все...

– Зато горячая водичка есть. Не отключенная.

– Здорово!

– Не бойся. Я уже мылся там с Коржеввым.

– А я и не боюсь.

– Тогда айда, небось. Бери полотенце, мыло.

С согласия зрителя сего заведения, на парадной которого красовалась красноречивая надпись «Не разминировано», Антон и Сторошук с бокового входа проникли в пустые помещения четырехэтажного корпуса, минуя бесчисленные стеклянные двери, и поднялись в

душевые кабины, облицованные внутри, как водится, кафелем. Точно: вода горячая и холодная под большим напором из-под колпачков веером лилась, разбрызгивалась вниз – красота! Установив удобней под ноги деревянный мат, мылись с великим удовольствием, с шумным всплеском. Это было несказанным блаженством.

– Ты знаешь, – фыркая, рассказывал Сторошук во время мытья. – Я очень люблю белорусскую парную баньку. Все боли залечивала – пар изгонял прочь из тела.

И Антон видел его сильное молодое тело с зарубцевавшимися шрамами от ранений. Ого!

– Ну, как, примерно, под Починками у нас было, – говорил Антон тоже весело. – Раз – голый, распаренный в снег. И окунешься...

– Ну, там топили по-черному. Интересно, кто ж тут поправлял здоровье последнее время? Какое начальство нацистское?

Разговаривая о том, о сем, они неспешно шли в часть по дощатому настилу тротуара. И только что Антон подумал об одной незнакомке своей, попадавшей уже на глаза ему – поднял глаза: она была рядом. Он сбился с шага. Она тоже, видно, смутилась. От неожиданности. Она была в розовом, нарядная.

Зыркоглазый предприимчивый спутник заметил что-то такое:

– Приятная девочка. Что, знаком?

– Нет-нет, – открестился он испуганно. – Откуда?

– Познакомиться хочешь? – И он, не дождавшись ответа, уже решил: – Будет просто. Надо пойти на гулянку. Придет наверняка. Давай вместе сходим ради интереса. Не бойся, по меньшей мере здесь не будет точно мин. – И рассмеялся.

Отчетливо стуча по стволу дерева дятел: тук-тук-тук. Стучало слышно в сердце у Антона. Как отзвук.

– Ну, как здоровье молодое, Антон? – спросил вечером старший лейтенант Папин, стоявший на террасе. – Значит, ты еще не познакомился здесь ни с какой барышней? Свободный?

– А что ж я, разве не могу? – хвастливо слетело с Антонова языка.

– Смотри, только не попади под новый закон об алиментах.

И это, в шутку сказанное, было как-то неприятно слышать от него. – Зачем это он?.. Мне, мальчишке... – подумалось ему.

«Я тоже – гусь хорош! Уподобился Сторошуку. Ишь ты – расхрабрился!.. Вот и получил зато».

Танцы, на которые Антон направился вместе со Сторошуком, проводились у бора; там солдаты играли на баяне, и под звуки его танцевали в кружке военные вместе с подходившими сюда местными девушками.

Его «избранница» уже явилась сюда с подругой. А он-то не умел танцевать, к стыду своему.

Но как же при знакомстве напустить на себя решимость? Взрослым проще: они понимают один другого с полувзгляда, полуслова, полуулыбки.

Перед этой местной девушкой Антону было страшно стыдно за себя, свои слова, за свою изношенную военную форму, лопнувшие на задниках сапоги, которые он кое-как залатал самостоятельно, чтобы не краснеть; перед нею он хотел бы выглядеть как-никак молодецкатым, чтобы все на нем сидело ладно и блестело, пусть он и недостаточно еще взросл, к сожалению.

И вот, набравшись отчаянной храбрости, Антон выждал удобный момент, когда она оказалась рядом. Подталкиваемый (в буквальном смысле) Сторошуком, который сам-то – удивительно! – робел, но прилепился к нему для придания ему смелости, он, наконец, приблизился к девушке и с усилием отважно спросил, можно ли познакомиться с нею. То, что немедленно последовало за этим, было ужасно. Да, словно ушат холодной воды окатил его.

– У меня есть муж – лейтенант, – в упор, с вызовом сказала «избранница» весело-кокетливо, как показалось ему, этакое хрупкое создание лет семнадцати, ежели не моложе. И он

никак не мог понять того, что она сказала: ее юная внешность так не соответствовала ответу; его тихие случайные встречи с ней, ее поведение не подтверждали этого. Что она, говоря ему неправду, испытывала его или защищалась своеобразно от ухаживаний?

Словом, был полный постыдный провал. Такой пассаж! Вот тебе раз!

– Муж? Лейтенант? – машинально, даже запнувшись и не спросив, как ее зовут, переспросил Антон, уязвленный самолюбием. Сам виноват: беспричинно обнадежился.

– Да, а что? – ответила она решительно.

– Да ничего. Я не лейтенант, как видите, – сорвалось у него с языка. Ни к чему.

Исчезла тотчас же робость перед ней. И Антон, собираясь с мыслями, тогда как Сторошук еще выпрашивал, как ее зовут, он тихонько отходил в сторону. Да, незнакомка явно сторонилась его, не мужчину. Поделом ему!

И напрасно он тужил. В последний раз – для пущей важности, словно желая удостовериться в действительном значении сказанного ею, – он глянул прямо ей в мягкие карие глаза. Они светились с каким-то вопрошающе-досадливым выражением, видным и в сумраке: нет же, не была она замужней, тотчас определил он для себя. Какой-то мотив у нее. Лишь туман на себя напустила. Зачем-то...

И как-то сразу прошло его мечтательное увлечение этой беззаботной девушкой, нечаянно попавшей раз ему на глаза.

А ночью, когда усталый Сторошук спал глубоко и шумно, Антон все ворочался на матрасе, видел лунное сияние за окном, в парке и светлые дорожки в комнате и все-таки почти вздыхал над собой. Зарекался: «Ну, в другой-то раз, надеюсь, уж умнее буду – да, да, да...»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Перед выездом из Белостока (в августе 1944 года) так сочли, что Антон Кашин должен ехать ездовым; это значило: отдельно от своих товарищей, с кем он служил в штабе, у майора Рисса. В Управлении фронтовых госпиталей, кроме нескольких автомашин держали еще и лошадей с повозками. Однако третий конюх, худенький старый солдат Назаров, кому Антон симпатизировал, был как раз госпитализирован. Замены ему не нашлось. И старший лейтенант Манюшкин, новый начальник АХЧ, с ведома непосредственного его начальства, назначил вместо больного Антона.

– Тебе, парень, шибко повезло, что ты так прокатишься на вольном воздухе, – говорил ему Манюшкин. – А то, небось, уж засиделся здесь – никакой физической нагрузки, да? – И, тяжело поведя головой, будто приросшей прямо к туловищу (шея у него была до странности коротка), зачем-то еще подмигнул.

– Товарищ старший лейтенант, сразу ведь сказал: пожалуйста, – отвечал Антон самолюбиво.

Майор Рисс, отпускаявший его как если бы с его согласия, но определившей то своей справедливостью во всем, безусловно тоже слышал Манюшкина, – он, обладавший достаточно острым слухом, просматривал здесь, в отделе, за столом, какие-то штабные бумаги и слегка подкашливал характерно: явно выражал неудовольствие услышанным. Майор покровительствовал ему во всем и, вероятно, всегда воспринимал несколько ревниво все, что ни касалось его, его службы, его жизни.

– В пятнадцать лет я также вкалывал на полную катушку. Да и девушек уже всюю провожал. – Манюшкин победительно взглянул на общительную Любу, машинистку, улыбнувшуюся на его занятое признание, и в его светлых навывкате глазах разыграл бес странного воодушевления: – Но поэзию я уж не променяю ни на что на свете, нет.

– Интересно, да? – моментально вступила Люба в как бы предложенную ей словесную игру.

– Вполне серьезно говорю: ни за что! Не верите?

– Что ж, похвально... Ведь я тоже одну дружбу признаю, а не любовь, за которую впоследствии расплачиваются некоторые... И не время любить теперь...

Сильней послышалось какое-то недовольное и старческое покашливание. Манюшкин зашепел, говорил уже уклончиво:

– Что поделаешь... Бывает... Для меня поэзия – мой крест. – И опять проговорил зачем-то: – Ну, Антон, ты выручил меня – мой спаситель... – И вышел из помещения.

Майор звучно крякнул, стулом заскрипел, вставая. Взглянул на Антона все равно с заговорщически-подбадривающим видом, хотя взгляд его был по-прежнему откровенно грустен.

Этот человек по должности своей занимался обеспечением всех вверенных ему госпиталей необходимым имуществом. Он по складу своего характера беспокойно вникал во все, вечно торопился, много разъезжал, бывая везде на местах, чтобы самому получше выяснить нужду снабжаемых и своевременно получить все необходимое.

Едва все сослуживцы выехали из большого трехэтажного дома, застучали молотки: заколачивались опустевшие помещения – бывшие меблированные комнаты, сдаваемые до войны хозяйкой-полькой внаем. Степенная эта полька, как наседка, стерегла возле своего гнезда трех взрослых сыновей, удивительно несхожих характерами и явно безразличных друг к другу, – вчетвером они обитали наверху деревянного двухэтажного дома, уютившегося во дворе большого, в тени тучного каштана. Сюда, в уютный и деревянный, и перебирались на последний ночлег Люба, два сержанта – Коржев и Хоменко, которые тоже отбывали завтра – с повторным рейсом, и вместе с ними Антон, завтра же выезжающий ездовым на лошадях.

Оживленная Люба и ухоженный Коржев тотчас, заинтересованно уединившись у плиты за приготовлением из сухого пайка ужина, подзадоривающее зажурчали голосами. Опять с бесконечным шептанием, нервным смешком, разговором иногда и вслух, но с какими-то туманными, либо иносказательными недомолвками – чтоб замаскировать на людях полный смысл говоримого ими, трогающего их. Как свойственно, очевидно, молодым людям, между ними возникли чисто товарищеские отношения; у них установился близкий взгляд на многие вопросы, очень волновавшие их. И хотя их обоюдная откровенность в чем-то исключительном для них сама собой предполагала особую тайну от других, все сослуживцы относились с прощательным для тех пониманием и сочувствием, ровно к легко больным той известной и понятной всем болезнью, что зовется молодостью, только и всего.

Взволнованная чем-то полька вздохнула и, плотно опустившись в удобное массивное кресло, стоявшее подле угловатого массивного стола, взялась за вязание; спицы, быстро мелькая, побежали в ее белых послушных натренированных пальцах. Однако она внезапно остановила руки и глуховато-строго, осекаясь голосом, спросила у гостей, скоро ли они, русские, освободят, наконец, Варшаву. Уже невмоготу. Сколько лет поляки под немцами.

Подобно большинству поляков-патриотов своей страдающей родины, она страстно ждала скорейшего освобождения столицы от немецких захватчиков, изождалась вся. Да всерьез и опасалась теперь за отдаление того момента, очень сомневалась в том, что русские сумеют уж освободить Варшаву, укрепленную, должно, вдвойне. Она говорила, что ошибку, верно, допустили: не вступили в нее зараз, во время летнего наступления. Немцы сильно укрепились. В Варшаве же в тридцать девятом году остались ее krewni – родственники, и она не знает ничего о них.

Глаза ее увлажнились. Она достала батистовый платочек.

Светловолосый Хоменко с рыжеватой (потому малозаметной) растительностью на щеках и подбородке, заторопился, краснея:

– Нет, неверно и не можно, пани. – И с убеждением и превосходством бывалого тридцатилетнего фронтовика попробовал все разъяснить неверующей хозяйке-польке, поудобнее вытянув со стула еще раненую ногу. – Для нового большого наступления, чтобы всю Польшу, а не только Варшаву, освободить, нам нужно вновь собраться со всеми силами, подтянуть поближе танки, самолеты, артиллерию, продовольствие подвезти, дороги наладить, мосты навести... Глупо без подготовки атаковать мощно вооруженных немцев. Ударить уж наверняка...

Полька уточнила для себя, готовится ли этим часом наступление.

– Наступать сейчас – все равно как пытаться выстрелить из незаряженной винтовки, – сказал сержант.

Хоменко обычно почтальонил, хотя нередко ему приходилось доставлять почту по ночам, под непрерывными неприятельскими бомбежками да обстрелами, – ползком по-пластунски, а где пробежками, совсем как не передовой, достаточно уже знакомой ему. Он вновь на фронте побывал в конце этой весны, после очередной перекомиссии, ходил там в разведку, а уж после третьего ранения и затем выздоровления опять вернулся в свою часть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.